

ЭНРИКЕ ВИЛА-МАТАС

МАК И ЕГО МЫТАРСТВА

«ШУТЛИВЫЙ, ЗАДОРНЫЙ, ЗАМЫСЛОВАТЫЙ. ПОЖАЛУЙ, ЭТО ЛУЧШИЙ РОМАН ВИЛА-МАТАСА И ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ, НАПИСАННЫХ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ».

— **КОЛМ ТОЙБИН,**
АВТОР РОМАНОВ «БРУКЛИН» И «НОРА ВЕБСТЕР»

Мак и его мытарства
Энрике Вила-Матас

Аннотация
Энрике Вила-Матас. Мак и его мытарства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47
48
49
50
51
52
53
54

Аннотация

«Романы, которые мне нравятся, всегда похожи на китайские коробочки, они полны рассказов», – утверждает рассказчик этого удивительного романа, замаскированного под забавный дневник, эссе о процессе писательства, уголовное расследование и учебный роман.

Мак только что потерял работу и теперь ежедневно прогуливается по Эль-Койоту, району Барселоны, где он живет. Он одержим своим соседом, известным и признанным писателем, и услышав однажды, как тот рассказывает о своем дебютном произведении «Уолтер и его мытарства», полном несочетаемых отрывков, Мак решает изменить и улучшить этот первый роман, который его сосед предпочел бы забыть.

И пока главный герой бродит по окрестностям, рассказывая о маленьких подвигах соседей в триумфе отчасти галлюцинированной тривиальности, Вила-Матас окончательно разрушает барьер между литературой и жизнью.

«Шутливый, задорный, замысловатый. Пожалуй, это лучший роман Вилы-Матаса и один из лучших, написанных на испанском языке». – Колм Тойбин, автор романов «Бруклин» и «Нора Вебстер».

Энрике Вила-Матас
Мак и его мытарства

Посвящается Пауле да Парма
Помню, что я почти всегда наряжался бродягой или призраком. А однажды – даже скелетом.

Джо Брейнард. «Помню»

Enrique Vila-Matas
MAC Y SU CONTRATIEMPO

Copyright © 2017 by Enrique Vila-Matas
The Russian edition is published by arrangement with Enrique Vila-Matas c/o MB Agencia Literaria S.L.

© Богдановский А., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

1

Жанр *посмертных* записок, который в последнее время так вошел в моду, столь пленяет меня, что я подумываю сочинить книгу, выдав ее за *посмертную* и *неоконченную,* хотя она не будет ни тем, ни другим. Вот если я в процессе написания помру, то — да, она в самом деле станет *последней,* более того — *оборванной* на полуслове, и два эти обстоятельства, без сомнения, разрушат среди прочего и ту великую иллюзию, которую я намереваюсь подделать. Однако начинающий писатель должен быть готов принять все, а ведь я самый что ни на есть начинающий? Меня зовут Мак. И уже в силу своего статуса мне стоит сохранять благоразумие и выждать какое-то время, прежде чем очертя голову броситься в перипетии лже-*посмертной* книги. И опять же с учетом того, что я — начинающий, мне не пристало браться немедленно за сочинение этой *последней* книги или еще за какую-нибудь фальсификацию, а следует всего лишь день за днем писать — а там, как говорится, видно будет. И, быть может, настанет момент, когда я, сочтя себя более подготовлен-

ным, решусь попытать свои силы в создании книги, оборванной кончиной, исчезновением или самоубийством. А сейчас довольствуюсь лишь тем, что начал сегодня вести дневник, пребывая в полнейшем ужасе и не решаясь даже посмотреть в зеркало, чтобы не увидеть, как глубоко я втянул голову в плечи.

Как я уже сказал, зовут меня Мак. А живу я здесь, в квартале Койот. И нахожусь в привычном мире своей квартиры, где, как мне кажется, пребываю испокон веку. Сейчас слушаю музыку Кейт Буш, а потом поставлю себе Боуи. За окнами лютует лето, и Барселона готовится — согласно прогнозу — к резкому повышению температуры.

Меня зовут Мак, благодаря знаменитой сцене из фильма Джона Форда[1] «Моя дорогая Клементина»[2]. Родители смотрели эту картину незадолго до моего появления на свет, и особенно понравился им эпизод, где шериф Уайетт спрашивает старого бармена в салуне:

---

[1] Примечания: 1

Джон Форд (настоящее имя Джон Мастер Фини, 1894–1973) — американский кинорежиссер, сценарист, писатель и продюсер, единственный обладатель четырех «Оскаров» за лучшую режиссуру и первый обладатель награды за вклад в развитие киноискусства.

[2] Примечания: 2

«Моя дорогая Клементина» вышла на экраны в 1946 году, название взято из песни, звучащей в начале и в конце фильма. Бармена Мака сыграл американский актер и кинорежиссер Джозеф Фаррелл Макдональд.

— Мак, ты был когда-нибудь влюблен?

— Да некогда было. Я все за стойкой стою.

Ответ старика привел их в восторг, и потому в один прекрасный апрельский день в конце сороковых годов я стал Маком.

Мак — здесь, Мак — там. Мак — для всех и для каждого. В последнее время меня уже не раз путали с компьютером «Макинтош». И когда подобное случается, я радуюсь как сумасшедший — потому, быть может, что, по моему мнению, лучше зваться Маком, чем моим настоящим именем — ужасным, по правде сказать, именем, навязанным тиранической волей деда по отцовской линии, — и неизменно отказываюсь произносить его, а писать — и подавно.

Все, что будет сказано в этом дневнике, я скажу себе самому, потому что больше читать его некому. Я нашел себе приют в этом личном пространстве, где, помимо многого прочего, хочу убедиться в правоте Натали Саррот[3], говорившей, что писать — значит попытаться выяснить, чту написали бы мы, если бы писали. Это — тай-

---

[3] Примечания: 3

Натали Саррот (наст. имя Наталия Ильинична Черняк, 1900–1999) — французская писательница, драматург, стоявшая у истоков «антиромана», — само определение «антироман» было впервые употреблено в предисловии к ее книге «Тропизмы».

ная хроника моей инициации, которая сама не знает, подает ли она признаки того, что уже началась. Однако полагаю, что да, что я в мои шестьдесят с лишним, двинулся по этой дороге. Полагаю также, что слишком долго ждал этой минуты, чтобы все потерять сейчас. Минута эта близится, а может быть, уже наступила.

— Мак, Мак, Мак.

Чей это голос?

Какого-то покойника, поселившегося у меня в голове. Предполагаю, это был совет не спешить. Но вовсе не поэтому я приторможу с ожиданиями. И голос этот не напугает меня, благо у меня по-прежнему имеется свой собственный. А знает ли он, голос этот, что уже два месяца и семь дней, с тех пор как рухнул наш семейный строительный бизнес, мне кажется, что я тону, а одновременно испытываю чувство невероятной свободы, словно закрывшиеся предприятия и прекращение платежей помогли мне обрести свое место в этом мире.

У меня есть причины чувствовать себя лучше, чем в ту пору, когда я зарабатывал себе на прожитье в качестве успешного застройщика. Но я вовсе не желал бы, чтобы это, с позволения сказать, счастье так же воспринималось бы окружающими.

Я терпеть не могу хвастовства в любом его виде. Я всегда остро чувствовал необходимость жить как можно более незаметно. И отсюда — мое стремление при малейшей возможности затаиться.

Спрятаться, заслониться этими страницами — и это позволит мне жить, в ус не дуя, а если меня обнаружат — беда небольшая. Но в любом случае этот дневник должен быть тайным: это даст мне большую свободу действий для всего на свете, вот хоть для того, чтобы, к примеру, заявить сейчас, что человек может годами считать себя писателем, и никто не возьмет на себя труд прийти к нему и сказать: «Не обольщайся, ты не писатель». Но если однажды этот человек решится все же начать, и ухнет, как говорится, все мясо на жаровню и примется наконец писать, он, этот начинающий смельчак, заметит вслед за тем — если, конечно, он честен перед самим собой — что его занятие не имеет ни малейшего отношения к дикому стремлению считаться писателем. И, чтобы не тратить больше времени, я поясню, что хотел сказать вот что: «Писать — значит перестать быть писателем».

Хотя в ближайшие дни я продам по смехотворной цене квартиру, которую сумел сберечь после своего разорения, меня беспокоит, что в конце

концов попаду в полную зависимость от бизнеса моей жены Кармен или что придется просить помощи у детей. Кто бы мог подумать, что принадлежащее моей жене ателье, где реставрируют мебель, будет из милости кормить меня, еще несколько недель назад — владельца солидной строительной фирмы. Перспектива попасть в зависимость от Кармен, конечно, тревожит меня, но все же я думаю, что если разорюсь вконец, это будет не хуже того времени, когда я строил дома, приносившие мне немалые деньги, но вместе с ними — неудовлетворенность и разнообразные неврозы.

Хотя обстоятельства рано подхватили и повлекли меня в неожиданном направлении и до сегодняшнего дня я не писал ничего такого, что попадало бы под определение «литература», я всегда без памяти любил читать. Сначала — стихи, потом — рассказы: обожаю малые формы. Мой любимый жанр — рассказы. А вот романы — не очень, потому что они, по словам Барта, наделены свойством смерти: преобразуют жизнь в судьбу. Если бы я когда-нибудь и написал роман, мне бы хотелось потерять его, как теряют яблоко, купив несколько штук в пакистанской лавочке на углу. Мне хотелось бы потерять его,

чтобы доказать, что я плевать хотел на романы и что отдаю предпочтение малым формам. Меня тронул один коротенький рассказ Аны Марии Матуте[4], где говорится, что у рассказа душа старого бродяги, который идет от деревни к деревне, а потом исчезает… «Рассказ уходит прочь, но оставляет свои следы».

Порой я говорю себе, что избежал большой беды, когда еще в юности все сложилось так, чтобы не дать мне улучить минутку и убедиться: писать — значит перестать писать. Будь у меня эта свободная минутка, сейчас бы я, наверное, просто лопался от таланта, или же, наоборот, был бы уничтожен и кончен как писатель, но и в том, и в другом случае — лишен возможности наслаждаться этим чудесным ощущением начинающего, ощущением, которое дарует мне такую отраду вот в эту самую — самую-рассамую — идеальную минуту: ровно в полдень 29 июня, когда я намереваюсь откупорить бутылку «Вега

[4] Примечания: 4

Ана Мария Матуте (1925–2014) — испанская писательница, виднейшая представительница так называемого поколения пятидесятых, член Королевской Академии испанского языка.

Сицилия»[5] 1966 года и, ну, скажем, испытать восторг того, кто знает, что его никогда не издадут и отмечает запуск тайного дневника, хроники ученичества, и в утренней тиши оглядывается по сторонам, и различает в воздухе слабое свечение, существующее, наверное, только у него в голове.

[ГОВНОРОСКОП]

Когда день уже можно смело считать вечером, я, малость выпив, занялся поисками «Стихов» Сэмюэла Беккета в переводе на испанский. Первый раздел назван *Whorescope* — это размышления о времени, написанные и опубликованные в 1930 году. Я понял гораздо меньше, чем в тот день, когда прочел его впервые, и, может быть, именно поэтому оно понравилось мне больше, чем тогда. Похоже, следует приписать Декарту — его умело подделанному автором голосу, — сто беккетовских строчек о беге дней, об эфемерности и о куриных яйцах. От моего понимания ускользнули куры и их яйца. Но благодаря этому я немало повеселился. Отлично.

---

[5] Примечания: 5

«*Вега Сицилия*» (*исп.* Veja Sicilia) — одна из известнейших испанских компаний — производителей вина, входящая в десятку лучших европейских винодельческих хозяйств.

Интересно бы знать, почему сегодня, определив себя в разряд простых, неискушенных дебютантов, я дошел до полного изнеможения, пытаясь — и совершенно безуспешно — написать несколько стилистически безупречных абзацев в этом дневнике? Сколько же времени я убил на выполнение этой безумной работы? И сколь же неубедителен довод, что времени у меня в избытке, что я ничем не занят и мой удел — праздность. Дело все в том, что я писал карандашом на листках, вырванных из тетради, потом надел очки и отредактировал текст, потом набрал его на компьютере, потом распечатал и перечитал, и обдумал, и выправил — это был истинный момент писания, — а потом снова набрал текст на компьютере, следа не оставив от написанного вручную, и наконец удовлетворился своими заметками, погребенными в загадочном нутре компьютера.

Сейчас-то я понимаю, что тогда действовал так, словно не знал, что в итоге идеальные абзацы все равно не устоят перед временем, ибо они — суть языка: их разрушает невнимательность наборщика, разница в словоупотреблении, перемены — *короче говоря, сама жизнь.*

«Но ты ведь начинающий, — раздался тут

некий голос, — и боги текста еще способны простить тебе огрехи».

2

Вчера я, человек, который на протяжении всей имеющейся в нем жизни, весело и чудаковато был занят лишь чтением, устремил глаза к столу, к маленькому деревянному прямоугольнику, стоявшему в ответвлении кабинета, и приступил к писанию.

Я начал свои дневниковые экзерсисы без предварительного плана, однако, во всеоружии знания о том, что в литературе начинают не потому, что есть о чем писать, вот человек и пишет, а наоборот, сам процесс писания как таковой позволяет автору выяснить, что он желает высказать. Так я начал вчера, имея в виду, что буду всегда расположен к неспешному постижению этой науки и что когда-нибудь достигну уровня, который позволит мне замахнуться и на более возвышенные цели. Так я начал вчера и так продолжу сегодня, и буду плыть в этом потоке слов ради того, чтобы узнать, куда же они унесут меня.

И вот, когда я, человек скромный до малодушия, сижу за маленьким деревянным изделием,

которое Кармен когда-то поручила изготовить мастерам своего ателье — не затем, чтобы я писал, а чтобы и дома мог заниматься своим полудохлым бизнесом — мне вспоминается, что в книгах иные незначительные и вполне незамысловатые персонажи порой переживают иных ярких и видных героев. Думаю про Акакия Акакиевича, персонажа гоголевской «Шинели», мелкого чиновника-переписчика, которому на роду просто и разборчиво написано быть «незначительной личностью». Акакиевич стремительно пересекает пространство этой короткой повести, но остается при этом одним из самых живых и наиболее сохранных персонажей мировой литературы, быть может, потому, что Гоголь отбросил свой здравый смысл и весело работал на самом краю этой личностной бездны.

Мне всегда был симпатичен этот Акакий Акакиевич, который для защиты от петербургской стужи нуждался в новой шинели, но, обретя ее, заметил, что по-прежнему страдает от холода, от холода всеобъемлющего и бесконечного. От внимания моего не укрылось, что этот чиновничек волей своего создателя появился на свет в 1842 году, и это позволяет мне думать, что все литературные персонажи, возникшие в середине XIX

века, все эти существа, корпящие в канцеляриях и школах, неустанно и бездумно перебеляющие тексты в тусклом свете керосиновой лампы, готовые, кажется, повторить все, что в этом мире еще доступно для повторения, были его прямыми потомками. Они никогда не высказывают ничего личного, они даже не пытаются меняться. «Я не развиваюсь», — сколько мне помнится, сказал один из таких персонажей. «Я не хочу перемен», — сказал другой.

Не хочет перемен и «второгодник» (в школе больше известный как «34-й») — герой книги Алехандро Самбры[6] «Мои документы». 34-й страдает синдромом повторения. Он умудряется сидеть в каждом классе даже не по два, а по три года, причем его это нимало не тяготит, а скорее даже наоборот. «Второгодник», описанный Самброй, как ни странно, совершенно лишен злости, скорей, наоборот, он благостно невозмутим. «Иногда мы видим, как он разговаривает с незнакомыми нам учителями. Весело разговаривает <…>. Ему как будто нравится поддерживать сердечные отношения с учителями, от которых он столько

[6] Примечания: 6

Алехандро Самбра (Alejandro Andrés Zambra Infantas, род. 1975) — чилийский поэт и прозаик, в 2007 году включенный в список 39 крупнейших молодых (моложе 39 лет) латиноамериканских писателей.

натерпелся».

Ана Тёрнер — одна из продавщиц в «Субите», единственном и процветающем книжном магазине квартала Койот — при нашей последней встрече рассказала, что послала Самбре электронное письмо, где речь шла о «34-м», и получила ответ такого содержания: «Похоже, что мы, поэты и рассказчики, и есть второгодники. Поэт — второгодник. Тем, кому достаточно написать одну книгу — или ни одной не написать — чтобы сдать экзамен и перейти в следующий класс, неведомы тяготы, которые испытываем мы, все еще обязанные пробовать снова и снова».

Безмерно мое удивление или восхищение Аной Тёрнер: я не могу понять, как она ухитрилась из «Субиты» связаться с таким писателем, как Самбра, и в не меньшее изумление повергает меня то обстоятельство, что ей удается с каждым днем становиться все привлекательней. При каждой новой встрече впечатление делается все сильней. Я стараюсь держать себя в узде, но неизменно обнаруживаю в этой женщине — необязательно в ее внешнем облике — нечто новое и нежданное. При последней нашей встрече я, благодаря словам Самбры: «Похоже, что мы, поэты и рассказчики, и есть второгодники», — понял, что Ана,

скорей всего, — поэт. «Я пишу стихи, — скромно призналась она. И добавила: вернее, пытаюсь». И эти слова переплелись со словами Самбры: «…обязанные пробовать снова и снова».

Услышав это из уст такой женщины, как Ана, я сначала подумал, что жизнь порой бывает очень приятна, а потом мысль моя углубилась в некие дебри, и я представил себе, как сосланные на задние парты за нерадивость ученики вынуждены выводить одну и ту же строчку раз по двести, пока не улучшат свой почерк.

И еще подумал про некоего романиста, который, будучи спрошен одной дамой, когда же он перестанет описывать людей, убивающих женщин, ответил:

— Уверяю вас, как только у меня выйдет то, что я хочу, сейчас же перестану.

И в то же утро, когда я вспомнил о бедолагах, бесконечно переписывающих одну и ту же фразу, о которых пишу сейчас, мне на мгновение примерещился таинственный паразит повторения, таящийся в нутре всякого литературного произведения. Он имеет форму той одиночной серой капли, которая неминуемо сидит в центре любого ливня или всякой бури и одновременно в самом средоточии вселенной, где, как известно, снова

и снова невозмутимо и неуклонно происходят одни и те же — всегда одни и те же — рутинные процессы, ибо все повторяется со смертельной непрерывностью.

[ГОВНОРОСКОП] 2

Рутина предвечерней поры. Я, как всегда в это время, выпил свои три стаканчика и стал проглядывать гороскоп в моем любимом журнале. И буквально потерял дар речи, прочитав в рубрике моего знака следующее: «Союз Меркурия и Солнца возвещает блистательные прозрения, которые заставят тебя прочесть это предсказание и увериться в том, что оно будет касаться одного тебя».

Говногороскоп! Предсказание на этот раз, кажется, адресовано лично мне, как если бы слуха Пегги Дэй — таков псевдоним составителя этих гороскопов — достигли сведения о моей ошибке, совершенной на прошлой неделе, когда я в присутствии немалого числа людей заметил, что вечерком люблю почитать гороскоп в моем любимом журнале, и даже если изложенное в нем на первый взгляд не имело ко мне ни малейшего отношения, мой опыт закаленного читателя позволял мне истолковывать текст нужным образом

и добиваться того, чтобы он идеально подходил ко всему, что произошло со мной в течение дня.

Достаточно было уметь читать, сказал я по этому поводу, а потом упомянул древних оракулов и сивилл, чьи бредовые речи толковались бесчисленными жрецами. И самая сила этих сивилл заключалась как раз в истолковании. Я припомнил по этому поводу даже Лидию, уроженку Кадакеса, ту самую, о ком Дали сказал, что такого восхитительно параноидального мозга он никогда больше не встречал. В 1904 году в казино Лидия мельком увидела Эухенио Д'Орса[7], который произвел на нее такое впечатление, что статьи, десять лет спустя напечатанные Д'Орсом в газете Жироны, она считала ответом на свои письма, оставленные адресатом без внимания.

И еще я тогда сказал, что намереваюсь толковать слова оракулов до могилы. Но дело в том, что моя реплика прекраснейшим образом могла достичь ушей Пегги Дэй, благо в дружеском кругу были люди, работавшие в ее журнале. Я не видел ее уже лет сорок как, и, откровенно говоря, она

---

[7] Примечания: 7

Эухенио Д'Орс (*исп.* Eugenio D'Ors 1881–1954) — каталонский писатель, журналист, философ и художественный критик, основатель и один из лидеров так называемого новесентизма. В литературе новесентизм выразился в попытке создания каталонской классической литературы.

кажется мне шарлатанкой. Мы познакомились с нею в юности, в одно прекрасное лето в С'Агаро, Пегги тогда звалась Хуанита Лопесбаньо, и я подозреваю, сохранила обо мне не самую добрую память.

Вот живет себе скромный человек — и вдруг однажды, недолго думая, начинает похваляться способностью толковать журнальных оракулов, совершает тем самым невероятную ошибку, которая взрывает десятилетия тихой с покойной жизни, а она, жизнь эта, усложняется внезапно и несправедливо. Усложняется до пределов немыслимых, невероятных — и всего лишь из-за секундного приступа тщеславия на вечеринке.

Или это просто раскаянье подкинуло мне сейчас безумную мысль, будто Пегги Дэй имела в виду меня?

3

Глупость — не самое сильное мое место, говаривал мсье Тест[8]. Мне всегда нравилась эта фраза, и я повторил бы ее прямо сейчас раз сто, если бы мне не было интереснее написать нечто такое, что было бы похоже на фразу Теста, но смысл имело бы другой: вот, например, что повторение — это мое сильное место. Или лучше так: повторение — это моя тема. Или даже так: мне нравится повторять, но с изменениями. Вот этот вариант больше подходит к моей личности, ибо из меня получился неутомимый изменятель. Все, что я вижу, читаю, слышу, мне кажется, поддается изменениям. Вот я и меняю. Меняю беспрестанно.

Это мое призвание — менять.

И еще я — повторитель. Впрочем, это призвание чаще встречается. Потому что все мы, главным образом, повторяем за другими. Людям столь свойственно повторение, и мне хочется изучать, разбирать, изменять выводы, к которым они приходят. Разве мы являемся в этот мир не за

[8] Примечания: 8

Персонаж книги французского эссеиста, поэта и философа *Поля Валери* (1871–1945) «Вечер с мсье Тестом».

тем, чтобы повторить то, что было до мелочей отработано и исполнено нашими предшественниками? Повторение, в сущности говоря, тема столь необозримая, что всякий, кто попытается охватить ее в целокупности, поставит себя в смешное положение. Еще я опасаюсь, что тема повторения может пагубно сказаться на его собственной природе. Однако не сомневаюсь, что в этом исследовании есть один аспект, на который, для начала, можно взглянуть под углом его проекции на будущее. Эту привлекательную сторону повторения заметил Кьеркегор, когда сказал, что «повторение и вспоминание — одно и то же движение, только в противоположных направлениях: воспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке; подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет. Поэтому повторение, если оно возможно, делает человека счастливым, тогда как воспоминание несчастным».

Раз уж я взялся изменять, то изменил бы сейчас и сказанное Кьеркегором, хоть и не знаю, как бы я это сделал. Так что лучше я немного погожу, выжду несколько часов и увижу: наладился ли мой инстинктивный изменятель. А тем време-

нем займусь тем, что отмечу: вечер легок, скуден, провинциален, элементарен, идеален. Я пребываю в необычном для себя хорошем настроении и, наверное, по этой причине даже вышеупомянутая скудость мне очень нравится. На самом деле вечер как вечер.

И вот я тихо сижу себе, устремив глазок-смотрок в просторную гостиную за моим кабинетом, туда, где свет и тени не борются никогда. С колокольни нашей церкви в квартале Койот, где я живу уже сорок лет, слетают — порой совершенно несуразно — часы. Быть может, говорю я себе, механизм ничего не повторяет, а просто это один и тот же час падает во всякое время, и жизнь предстает одним-единственным днем: примитивным, скудным, лишь очень изредка славным, но и тогда не теряющим свою сероватую сущность.

Я всю жизнь проработал в компании, основанной моим дедом, а потому волей-неволей был свидетелем и блеска ее, и, в последние годы, погибельного упадка всего строительного сектора. Я был в самой гуще этого конвульсивного семейного бизнеса и в качестве легкой компенсации за сумасшедшую — в полном смысле слова — работу позволял себе в свободные минуты становиться ненасытным книгочеем и следить — порой с вос-

хищением, чаще с состраданием — за всем, что понаписали писатели всех времен, а особенно пристально — за творчеством современников.

Когда мой бизнес перестал быть всепоглощающим занятием и в конце концов рухнул, любимым моим времяпрепровождением сделались чтение и напряженная семейная жизнь. Не утаю, что волочу за собой неудачи. Согласен, что, имея за плечами сорок лет и все, что подразумевается этим, я все равно был несчастен, потому что хотел бросить бизнес, пойти еще поучиться и сделаться, например, адвокатом, однако мой покойный ныне дед по отцовской линии — имени его я называть не стану — запретил.

Сейчас вот думаю, как хорошо было бы уподобиться Уоллесу Стивенсу[9], адвокату и поэту. И вообще мне кажется, что по общему закону нам всегда хочется быть тем, кем мы не являемся. Как упоительно было бы уподобиться Стивенсу, который в 1922 году написал редактору литературного журнала такие вот строки: «Убедительно прошу не обращаться ко мне с просьбой сообщить мои биографические сведения. Я адвокат и живу в Хартфорде. В этих данных нет ничего ни

[9] Примечания: 9

Уоллес Стивенс (*англ.* Wallace Stevens, 1879–1955) — один из виднейших американских поэтов XX в., обладатель Пулитцеровской премии.

забавного, ни поучительного».

С годами мне все трудней оборачиваться, но все же сейчас я это сделаю, чтобы вспомнить, как впервые услышал слово «повторение».

В раннем детстве ребенок не подозревает о существовании божества по имени Кронос. И мы плывем в стоячей воде нашего невежества до тех пор, пока первый опыт повторения не втолкнет нас довольно резко во время, пусть даже оно покажется нам сперва миражом.

И первый опыт этот я получил в четыре года, в тот день, когда в школе кто-то мне сказал, что мой сосед по парте, маленький Сотерас, остается на второй год в приготовительном классе, иными словами, должен будет повторить курс наук. Слово «повторить» произвело на мои юные мозги, беспрестанно открывающие новые и новые горизонты, эффект разорвавшейся бомбы и буквально швырнуло меня в круг Времени, ибо я уразумел, а до тех пор даже и не подозревал об этом, — что есть учебный год и есть класс, а за ними следуют еще один год и класс, и все мы барахтаемся в этой жуткой сети, сотканной из дней, недель, месяцев и «километров» (в детстве я считал, что годы называются километрами и, похоже, был не так уж далек от истины).

В круг Времени я вошел в сентябре 1952 года, вскоре после того, как родители определили меня в религиозный колледж. В начале 50-х так называемое среднее образование состояло из четырех этапов или циклов: Приготовительный, Начальный, Средний и Высший. Принимали в колледж детей в возрасте четырех-пяти лет, а выпускали оттуда, подготовив к университету, в шестнадцать-семнадцать. Приготовительный цикл длился всего один год и очень напоминал детский сад, с той лишь разницей, что детишки сидели за партами, как если бы им уже приспела пора начинать учение всерьез.

В ту эпоху дети казались старше, а взрослые — и вовсе мертвыми. Отчетливей всего из эпохи приготовительного класса видится мне обиженное лицо маленького Сотераса. Я говорю «маленький», потому что было в его физическом облике нечто такое, неведомое мне, что он казался младше нас всех, тогда как мы и выглядели с каждым днем все более взрослыми и продолжали взрослеть со всех, можно сказать, ног. «Родина нуждается в вас», — говорил один учитель, с несомненным удовольствием наблюдая, как мы растем.

Еще помню, что Сотерас играл со своим — в

самом буквальном смысле — надувным мячом, который иногда давал и нам на переменах. И только вот это осознание того, что мяч — его полная собственность, помогало Сотерасу выглядеть взрослее, то есть вровень с нами. Когда же мы вновь рассаживались по партам, он опять становился маленьким. Еще мне врезалась в память серая шинель, которую он носил зимой, и, наконец, меня долго и сильно занимало его второгодничество.

Я вывожу его под вымышленным именем потому, что мне хочется, чтобы его воспринимали как персонажа, а еще и потому, что не могу не думать о читателе, хоть и не надеюсь, что таковой отыщется. Как объяснить такое забавное противоречие? Да никак. Но все же, чувствуя себя обязанным привести хоть один резон, прибегну к хасидскому изречению: «Заблуждается тот, кто полагает, будто сможет обойтись без других. Но еще сильней заблуждается тот, кто полагает, будто другие сумеют обойтись без него».

В течение многих лет для меня оставалось неразрешимой загадкой, почему Сотерасу пришлось остаться в приготовительном классе на второй год. Так шло до тех пор, пока в один прекрасный день, когда он уже был студентом

архитектурного факультета в университете, а я, ученье бросив, работал в семейной компании недвижимости, мы не столкнулись нос к носу в автобусе 7-го маршрута, следовавшем по барселонской улице Диагональ, и я не удержался от искушения спросить его напрямик: как же это так вышло, что он вынужден был повторить то, что никому и никогда не случалось повторять, а именно — подготовительный класс?

Сотерас, нимало не удивившись моему вопросу, посмотрел на меня с такой улыбкой, словно я его осчастливил им и дал возможность высказаться по этому поводу, а сам он годами готовился к тому дню, когда наконец придется ответить мне.

— Не поверишь, — сказал он. — Я попросил родителей оставить меня в приготовительном классе, потому что страшно было переходить в первый.

Однако я поверил, мне показалось это вполне правдоподобным. А еще более, услышав от него, что он подсматривал, как идут занятия в Начальной школе, размышлял, каково ему будет там учиться, и от одной мысли об этом покрывался холодным потом. «В те дни, — добавил он, — я боялся перемен, боялся учиться, боялся стужи, которой веет от жизни, боялся всего на свете —

словом, я жил в вечном страхе». Я было задумался над этим, но Сотерас спросил, не приходилось ли мне слышать про людей, которые, когда смотрят кино по второму разу, перестают что-либо понимать. Я потерял дар речи прямо там, посреди переполненного автобуса.

— Ну так вот, теперь знай, — сказал он. — Такое случилось со мной, когда я остался на второй год в приготовительном классе: я ничего не понимал.

[ГОВНОРОСКОП 3]

«Утром возможны проблемы с детьми. Но днем вы придете к выводу, что мир устроен так правильно, что к нему ничего не надо добавлять».

На этот раз Пегги не обращается ко мне напрямую, наверное, решила, хватит с меня и вчерашнего. Однако это не мешает мне по привычке принимать ее предсказания на свой счет. И вроде бы она желает предостеречь меня чтобы не трудился писать, ничего не добавлял к миру, потому что все равно будут сплошные повторы. Разве не все уже написано? Что же касается «проблем с детьми», то не сомневаюсь, что речь идет не о моих троих, вполне уже взрослых и решающих свои проблемы самостоятельно, а о запутанных технических сложностях, с которы-

ми я столкнулся, когда утром сел писать. Абзацы, порождающие столько волнений и тревог, — это и есть мои дети.

Ну а насчет того, что, мол, днем придете к выводу, ясно же, что речь идет о случившемся часа два назад, о доставшемся мне из рук, вернее, из уст Андера Санчеса, и о том, что он сказал мне и Ане Тёрнер, когда я вышел на улицу за сигаретами и обнаружил, что оба стоят в дверях «Субиты» и весело пересмеиваются. Подобное случается не слишком часто, но на этот раз Санчес, наш прославленный сосед, «виднейший барселонский писатель», приветствовал меня с весьма щедрой доброжелательностью. Редкий случай: мы с ним не раскланялись торопливо на ходу, как обычно бывало на протяжении многих лет, а встретились у входа в книжный магазин, где он стоял, являя собой легкую мишень для всякого, кто захотел бы осыпать его словами восхищения или просто любезностями. Да, Санчес праздно стоял у дверей «Субиты» и не пытался скрыть, что очарован прелестями великолепной Аны, отчего я неожиданно почувствовал укол ревности.

Да кто ж в квартале Койот, который отчасти называется так еще и потому, что по какой-то случайнейшей из случайностей квартира, где

Санчес живет уже несколько десятилетий — этот жилой комплекс примыкает к моему — некогда принадлежала Хосе Мальоркúн, популярнейшему барселонскому романисту 40-х годов, не знает его? Может быть, он купил ее, не зная, что прежним владельцем был Мальорки, однако злые языки уверяют, будто именно в надежде, что это поможет ему, уподобившись ее прежнему квартиранту, тоже стать самым продаваемым в Испании автором. Ибо там, в квартире, ныне занимаемой Санчесом, Хосе Мальорки с 1943 года сочинил двести романов из серии «Койот», относящихся к жанру так называемой pulp fiction и ставших в послевоенной Испании абсолютными бестселлерами.

Когда я только переехал — уже довольно давно — сюда, эта часть Эшампле[10] еще не носила собственного имени, и мы с соседями полушутя говорили, что проживаем в квартале Койот. Это прижилось. Название, что называется, прилипло, и сейчас едва ли не все называют наш квартал так, хоть и понятия не имеют, откуда взялось это

[10] Примечания: 10

Эшампле — самый густонаселенный район Барселоны, возникший в XIX веке и расположенный между Старым городом и множеством маленьких городков, ранее окружавших Барселону, а в XX веке превратившихся в новые городские районы.

название. Квартал, не имеющий четко обозначенных границ, тянется до площади Франсеска Масия, прежде носившей имя Кальво Сотело, а во время Гражданской войны — Братьев Бадиа[11].

Но тут важно отметить, что сегодня Санчес, не ведающий, что я приложил руку к наименованию квартала, удостоил меня приветствия. Мало того, отпустил вереницу столь изысканно-витиеватых любезностей, что мне, человеку к такому непривычному, пришлось неуклюже соответствовать.

А он, как мне показалось, чтобы ослепить Ану, — принялся блистать разными разностями о всякой всячине и, хотя никто его об этом не просил, повествовать, как трудно ему обернуться и вспомнить молодые годы, а особенно трудно — один, всего один, определенный год, когда он, должно быть, пил больше обыкновенного, потому, видимо, и написал тогда роман о чревовещателе, о скрытом в зонтике орудии убийства и о проклятом севильском цирюльнике.

— Больше ничего не помню, — сказал он, — кроме того, что в романе этом встречались

---

[11] Примечания: 11

Франсеск Масия и *Льюса* — испанский и каталонский политик, 3-й президент Каталонской Республики, известный в народе как Дед; *Хосе Кальво Сотело* — испанский политик, адвокат и экономист, министр в правительстве генерала Мигеля Примо де Риверы; братья *Мигель* и *Жозеп Бадия* — каталонские политические активисты.

совершенно невразумительные пассажи: такие, знаете, непролазно-густые, плотные, переходящие уже, я бы сказал, в бредятину…

Стало ясно, что он умеет относиться к себе с иронией. И я подумал, что мне хорошо бы последовать его примеру, хотя, стремясь щегольнуть перед Аной своим умением самовысмеивания, добился бы я не успеха в этом начинании, а совсем наоборот, ибо надо принимать в расчет, как топорно я стану это делать.

Санчес сказал нам, что больше всего его занимало, как он сумел все же доделать книгу, сплошь состоящую из этих идиотских пассажей. Несомненно, он имел в виду свой ранний роман «Вальтер и его мытарства». Он сильно удивлялся, что написал эту книгу, будучи постоянно пьяным, а еще сильней — как она сумела добраться без особых сложностей до издателя, а тот ее напечатал, не слишком придираясь, ибо рассудил, вероятно, — какие уж тут придирки при таком-то гонораре.

Этот текст, сказал он, был переполнен нелепостями, несообразностями, логическими нестыковками, внезапными и абсурдными сломами ритма, всякого рода откровенными глупостями, но при всем при том — тут он слегка напыжился

— содержал кое-какие гениальные идеи, забавно порожденные этими самыми глупостями. Роман свой он помнил лишь частично, память о нем была какой-то водянистой, словно набухла влагой бесконечных порций джина с тоником, которые он поглощал непрерывно, сочиняя эти намеренно окольные воспоминания своего чревовещателя.

Высказав нам все это — прозвучало, надо сказать, неким перебором — он, что называется, замкнулся в молчании. Ана, судя по ее виду, пришла в совершеннейший восторг, и это вселило в меня такое раздражение, что на память мне пришли недавние признания самого Санчеса: он, дескать, готовит к печати автобиографическую тетралогию в стиле норвежца Кнаусгора[12].

— Возможно ли это?! — почти беззвучно вскричал я, подумав об этом.

Санчас и Ана уставились на меня, не понимая, да, впрочем, и не больно-то стараясь понять, что же такое вдруг предстало моему мысленному взору — из чего я заключил, что это их не больно-то интересует. А подумал я про «Вальтера и его мы-

[12] Примечания: 12

Карл Уве Кнаусгор (1968) — норвежский писатель, известный шестью автобиографическими романами под названием «Моя борьба».

тарства»[13] потому, что эта книга не была вовсе мне незнакома. Запомнилось, что кое-где она была удивительно прекрасна, а кое-где — бессвязна и хаотична: во всяком случае, я уверен, что она была не окончена. Если не ошибаюсь, я бросил ее на середине, потому что начал уставать от того, что каждая глава воспоминаний чревовещателя Вальтера содержала абзац-другой, никак не связанный с прочим текстом, и, опять же если не ошибаюсь, в интервью по выходе книги говорилось, что эта путаница намеренная и объясняется «требованиями сюжета».

Требованиями сюжета! А сюжет этот никак нельзя счесть крепко сколоченным. Хотя книга была заявлена как воспоминания чревовещателя, сюжет — или жизнеописание — состоял всего из нескольких «биографических эпизодов». Вниманию читателей предлагался всего лишь скелет биографии: несколько значимых событий перемежались ответвлениями, а другие имели весьма отдаленное отношение к его миру и казались биографией еще кого-то, но не Вальтера.

— Я был еще очень молод в ту пору, — сказал он, — и вскоре растратил свой талант. И сейчас

---

[13] Примечания: 13

Здесь и далее описывается ранняя повесть самого Вила-Матаса «Дом навсегда» (*исп.* «Una casa para sempre», 1988, изд. Anagrama).

мне остается лишь оплакивать роман, который я выпустил из рук и потерял по собственному своему скудоумию. Теперь уж ничего не поделаешь. Не вернуть. Счастье еще, что никто не помнит о нем.

Он понурился, но тотчас вскинул голову и сказал:

— Иногда я даже спрашиваю себя: а может, его написал кто-нибудь другой?

И уставился на меня.

Да кто ж его знает, подумал я в испуге, надеюсь, он не подумает, что это я написал.

4

Утром, когда я еще не вполне проснулся, некий бедолага-новичок наконец уразумел, о чем желает говорить, и затеял исследование насчет повторения — можно не сомневаться, что этой теме были целиком уделены три первых дня, посвященных упражнениям в писательском мастерстве. Уж не почувствовал ли этот начинающий, что процесс писания как такового позволяет ему понимать, что именно он хотел сказать?

Тут вдобавок чей-то голос сказал:

— Я силен в повторах.

Наконец-то. Когда, все еще в полусне, я понял, что несчастный новичок — это, быть может, я самый и есть, то испугался не меньше Стэна Лорела[14], когда в одной немой комедии он дремлет на скамейке, скрестив руки на груди, а в эту минуту подкравшийся сзади вор просовывает через рейки скамьи руку, так что одурманенный сном бедолага путает ее со своей собственной.

---

[14] Примечания: 14

Стэн Лорел (наст. имя Артур Стэнли Джефферсон, 1890–1965) — комедийный актер, сценарист и режиссер, ставший известным благодаря комическому дуэту «Лорел и Харди».

Несколько позднее, покуда я размышлял на тему повторения, мне показалось, даже если предположить, что я выиграл свою первую писательскую битву: недаром же говорят, что самое главное — выйти на свою дорогу и заговорить собственным голосом, так вот показалось мне, что эта победа способна обернуться серьезной проблемой, ибо содержит в себе тот зародыш, который приводит писателя к роковому самоповтору. Однако это вовсе не мешает тому, что исключительность, тот ни с чем не сравнимый тон или регистр для писателя желаннее всего, ибо никому не удается отвести взгляд от пропасти, которая отделяет неповторимый голос писателя от кудели литературного хора, доносящегося из огромной братской могилы его ничтожных собратьев, пусть даже впереди, в конце долго пути ждет их всех одна ледяная равнина.

Разумеется, мы могли бы посмотреть на это все под другим углом и заметить, к примеру, что без подражания и тому подобных действий мы бы совсем пропали, а потому не так уж страшно повторение, как нам тщатся представить его: «Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распро-

страняется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие» (Дон Кихот, глава XXV)[15].

Иначе говоря, в самом по себе повторении нет никакого вреда: и чем бы мы были без повторений? А с другой стороны, откуда проистекает столь глубоко укоренившаяся в сознании весьма аристократических писателей убежденность в том, что, однажды начав повторять, они прямой дорогой придут к неминуемой погибели? Не постигаю, откуда взялась эта ересь, если в действительности нет ничего в нашем мире, что не повторялось бы. Чтобы далеко не ходить за примером: тот, кто внимательно посмотрит картины Кубрика, вызывающего общий восторг своим умением от фильма к фильму менять жанр, стиль, тематику, лишится дара речи, заметив, что все творчество этого крупного режиссера движется по замкнутому кругу навязчивых повторений.

Страх повторяется. Сегодня утром, меня не вполне еще проснувшегося, обуяла пресловутая паника, а ведь я вожусь с этим дневником всего три дня. И в связи с этим могу сказать лишь одно: у женщин есть восхитительная способность

---

[15] Примечания: 15
Перевод Н. М. Любимова.

избавляться от всех этих проблем, которые, как я подозреваю, были измышлены завистниками, мечтающими парализовать самые изобретательные мозги.

Женщины куда искусней рассеивают эти смехотворные сложности, доставляющие такие изнурительные мучения бедным мужчинам, неизменно оказывающимся глупей и ранимей их, — они словно наделены шестым чувством, которое помогает благоразумно упрощать ситуации и облегчать трудности. Вот взять, скажем, аргентинскую писательницу Эбе Уарт[16], которая на вопрос о том, не боится ли она повторов, ответствовала, что нет, нисколько не боится, ибо от них ее спасают путешествия: она пишет о своих перемещениях в пространстве, а они, разумеется, многоразличны, и она ежеминутно открывает в них нечто новое, поскольку стечение обстоятельств побуждает ее в каждом своем странствии писать по-разному…

Исак Динесен[17] тоже лихо расправлялась с

---

[16] Примечания: 16

Эбе Уарт (*исп.* Hebe Uhart, 1936–2018) — аргентинская писательница и педагог. Примечательна тем, что ее литературная деятельность стала достоянием публики, когда Эбе Уарт уже было за семьдесят.

[17] Примечания: 17

Псевдоним датской писательницы *Карен Бликсен* (1885–1962).

проблемами такого рода: «Страху повторения всегда можно противопоставить счастливое сознание того, что двигаешься вперед в компании историй о прошлом». Динесен знала, что рекомендуется восстанавливать события, начиная со вчерашнего дня. В своей книге «Здесь я уже был» Хорди Бальо и Хавьер Перес[18] рассуждают об удовольствии, которое даруют повторы, вовсе не мешающие новым и нежданным открытиям со стороны создателей, а также и о том, как культурный рынок много лет оставался под властью мифа о новизне как единственной ценности, новизне как основе издательской политики, в погоне за ней дошедшей до пределов терпимого и возможного — главным образом, потому, что этот культ стремился утаить, спрятать «изначальные истоки повествования». «Зато в литературе, использующей повторение, узнается и признается, что прочная связь с прошлым есть основополагающий элемент ее фактуры. И осознание этого превращает книги в территорию эксперимента, ибо они ищут оригинальность не столько в вос-

[18] Примечания: 18

Хорди Балло (*исп.* JordÍ Balló, род. 1954) — испанский писатель, преподаватель и кинопродюсер. В соавторстве с кинокритиком и театроведом Хавьером Пересом (исп. Xavier Péraz, род. 1964) написал и выпустил несколько книг.

крешении памяти о «*пилотном эпизоде*», сколько в потенциальной способности этого начала развернуться к новым мирам».

&

Наступил день, и вместе с воспоминанием о том, как вчера Санчес сказал, что роман его перегружен несуразицами, я припомнил, как месяца три назад сидел на веранде «Балтимора» совсем неподалеку от нескольких седоватых мужчин под и за сорок — не то богемная публика, не то нищие оборванцы, сразу точно и не скажешь, но постепенно я все же стал склоняться к первому варианту — и я их раньше никогда не встречал, а они, обсудив последовательно и в полный, можно даже сказать «полнейший», голос женщин, легкие наркотики и футбол, приступили к рассказам, где главными героями были собаки.

Вскоре выяснилось, что самый бойкий в этой компании, самый блистательный рассказчик и самый большой краснобай приходится Санчесу родным племянником, а я и не знал о его существовании, потому что он был либо не из нашего квартала, либо ни разу мне там не попался на глаза, иначе бы я его запомнил, благо внешность — широкие, мощные плечи — у него была не

рядовая, а, я бы сказал, примечательная.

Я слушал собачьи рассказы, которыми они обменивались, и мне приходилось напрягать слух, потому что собутыльники вдруг понизили голоса и говорили все тише и тише, словно по секрету, словно не желая, чтобы их болтовня становилась достоянием гласности, но в конце концов до меня отчетливо и связно донеслись фрагменты какой-то невероятной истории про собаку одного писателя. И тут племянник уведомил:

— Речь о Санчесе. О собаке Санчеса.

Затем последовала гнусная вереница рассчитанных оскорблений по адресу дядюшки, несколько раз названного «наш семейный придурок».

Мне показалось, что племянник при всей своей непомерной запальчивости все же очень зависим от предполагаемой славы своего знаменитого родича. Мало сказать: «очень зависим». Все то время, что я наблюдал за ним, он не переставал передразнивать его, приписывать ему глупейшие поступки, а главное — глумиться над его литературным стилем, терзая его грязными остротами, убогими шутками самого дурного тона, не проявляя никакого милосердия к дядюшке или его псу, подвергающемуся этой хуле.

Нетрудно было заметить, что племянник не совладал со своим безудержным тщеславием: он непрерывно превозносил собственные дарования, будучи, по всей видимости, совершенно убежден в их превосходстве над талантом Санчеса. Во всяком случае, время от времени он допускал ошибки, выдававшие, что он являет собой огромный пороховой погреб зависти: «И подумать только: я отверг идею написать множество романов и рассказов, которые, выйди они в свет, были бы с удовольствием прочитаны грядущими поколениями…».

Грядущими поколениями!

Надо же так выразиться, причем все указывало, что не в шутку, а вполне серьезно. В глазах племянника писатели, достигшие триумфа (иных ступеней и степеней успеха для него не существовало), обязаны были им исключительно своему умению лучше других вписаться в условия рынка и книжной индустрии. Совершенно безразлично, имелся ли у них талант или даже осеняла ли их гениальность: уже одно то, что они сумели снискать себе внимание читателей, доказывало, что нет, не имелся, не осеняла. По-настоящему хорошие писатели: несколько отверженных, вытесненных на обочину, безвестных лично-

стей, — целиком и полностью пребывают вне системы. Чтобы оказаться среди этих героев, надо было удостоиться похвалы критика из Бенимагрелля, чьи имя и фамилия ничего не говорят мне, как ничего не сказало и название городка Бенимагрелль, и, хотя по возвращении домой я посредством интернета убедился, что таковой существует и расположен в провинции Аликанте, однако нигде не было сказано, что там родился хоть один мало-мальски известный критик.

Во имя торжества истины, ибо менее мне бы хотелось обманывать тут самого себя, скажу, что понял тогда: я мог бы согласиться кое с чем из произнесенного племянником-ненавистником, если бы не клокотавшая в его словах непомерная ярость. Чем-то он напомнил мне «племянника Рамо» — персонажа, введя которого, Дидро, быть может, сам того не желая, объявил о пришествии времен, когда будет стерта этическая грань меж великими личностями и их хулителями. И опять же: из уважения к истине я обязан сказать, что если бы удалось игнорировать этот злобный тон, равно как и способность племянника оскорблять, то я должен был бы признать, что горела в нем искра божья, чувствовался незаурядный талант, проявлявшийся тем заметней, чем яростней бы-

ли его диатрибы. Нелегко мне отдавать должное этому чудовищу, но был, был в нем писательский дар.

Под каким-то предлогом я подошел к стойке бара с тем, чтобы, возвращаясь, взглянуть на племянника спереди и разглядеть получше.

Я спросил стакан черешневой кока-колы (никто уже не помнит этот сорт), но, как и следовало ожидать, таковой не оказалось и, более того, о такой не слыхивали. Ладно, сказал я, ну раз так, то ничего не надо. Тронулся в обратный путь к своему столику во исполнение своего намерения рассмотреть чудовище подробнее, и увидел заносчивого гиганта с бородой, оскорблявшей всякое эстетическое чувство, в дебрях которой, словно бы для того, чтобы носитель ее был под стать собутыльникам, словно бы гнездились ласточки.

Забавно, что вчера, увидев Санчеса у дверей в «Субиту», я не вспомнил про его племянника и уж тем более — про критика из Бенимагрелля. Но зато сегодня целый день не выходил у меня из головы этот широкоплечий гигант, потому что я начал связывать две встречи: вчерашнюю с Санчесом и ту невольную — с его племянником-ненавистником, имевшую место месяца три

назад, после чего я ни разу больше его не видел. И заметил, что их чередование ненавязчиво образуют сюжет романа: как будто вдруг сошлись воедино некие автобиографические моменты, как будто некие главы моей повседневной жизни сговорились меж собой и попросили рассказать о них, более того: потребовали превратить их во фрагменты романа.

Но ведь это же дневник! Так кричу я самому себе и добавляю следом, что никто никого не может принудить написать роман, никого, и уж тем более, меня, обожающего рассказы. Кроме того, записи мои — дневниковые, это дневник и ничего больше, и мне нет никакой надобности лишний раз напоминать себе об этом. Здесь проживаю я сочинительство, как нечто потаенное и глубоко интимное. Это ежедневное упражнение для начинающего писателя, первые литературные каракули с прицелом на будущее, нужно мне в числе прочего и за тем, чтобы не отчаяться окончательно от бедственного положения моих дел.

Это — дневник, дневник, дневник. И, кроме того, — это тайная борьба, которой я отстаиваю право на «литературное писание». И потому я не вполне уверен, что уличная действительность устроила заговор с целью побудить меня двинуть

мои писания курсом романа, хоть и должен быть благодарен ей, действительности этой, за предоставляемый материал: не будь его — не было бы никакого. Но нет. Выше моих сил благодушно взирать, как устраивает она заговоры, и еще невыносимей: как между романом и дневником возникает беспокоящее меня напряжение, с которым давно пора покончить.

5

Вчера я говорил, что эти выдумки тщатся быть оригинальными не столько для того, чтобы увековечить память «пилотного эпизода», сколько в доказательство его потенциальной возможности взлететь в иные миры, к новым вселенным. А сегодня спрашиваю себя: что случится, если, вооружась потенциальной мощью такого оригинала, как «Вальтер и его мытарства», я предприму попытку повторить эту книгу, благо Санчес уверял, будто практически забыл ее.

Прежде всего мне как начинающему предстоит делать долгие и тяжкие упражнения и не сворачивать с пути. Но потом, быть может, пройдя определенный его отрезок, я смогу принять этот вызов и довести повествование до развязки в этом самом дневнике. В конце концов, не эти ли страницы привели меня к повторению, к теме, которая, как я сейчас вижу, волнует меня куда сильней, чем можно было предположить?

Второй этап моей жизни начинающего писателя я мог бы посвятить переписыванию «Вальтера и его мытарств». Почему бы и нет? Если сумею

набить руку, поднатореть в технике писания, быть может, рискну и перекроить в оригинале все, что мне рассудится за благо. Вот, к примеру, вероятней всего и как минимум, вымараю самые невыносимые абзацы, которые Санчес под воздействием спиртного смастерил так путано и нелепо.

Да я бы вообще все переписал, скажем, чтобы сквитаться за то, что потерял столько времени в кипящем хаосе недвижимости. И просто забавы ради. И не только для того, чтобы начать забавляться литературной игрой, но ради чистой — пока назовем так, дальше я разберусь, — «человеческой игры». Ну и чтобы проверить, что чувствует тот, кто бросается в битву столь же святую, сколь правую: тайно улучшает литературное произведение ближнего своего.

[ГОВ~~НО~~РОСКОП]

Предвечерняя чепуха. Читаю гороскоп в меркнущем свете дня. «Овнам соединение Меркурия и Солнца указывает, что значение имеет исключительно то, что вы делаете, однако подумайте, что в конечном счете это служит всего лишь тому, чтобы определить, что же вы хотите делать на самом деле».

Неужели это газетный оракул? Вроде бы они пишут не так. Предсказания для других знаков зодиака лишены философской глубины. А вот к Овнам — отношение другое. Создается впечатление, будто Пегги пишет, зная, что я ее читаю. Так ли это или не так, но мне не избегнуть толкования ее прогноза. Кажется, там имеется в виду, что все, что делаю я в этом дневнике, приведет меня к постижению того, что я хочу делать на самом деле. Она как бы хочет сказать: «Овнам соединение Меркурия и Солнца указывает, что значение имеет лишь произведение, но в конечном счете оно всего лишь направляет на поиски его».

И это еще не конец, потому что если гороскоп — понимаю, что это недоказуемо, но мне нравится так думать — хотел указать мне на это, я бы взял на себя смелость слегка изменить его высказывание, сказав так: «Соединение Меркурия и Солнца указывает, что твое вольное повторение «Вальтера и его мытарств» способно в конце концов превратиться в поиски твоего собственного произведения».

Поскольку это допущение сию минуту пришло мне в голову, я не могу исключить его. Если я только что провел эти поиски, и найденное — что было бы совершенно логично — обрело

бессмертие, то предполагаемый совет астролога Пегги отворил бы двери тени великого Маседонио Фернандеса[19], писателя, отдавшего годы жизни «Музею романа о Вечности», книги, навсегда оставшейся в проекте, ибо автор так и не приступил к писанию, а вступление было скомпоновано на основе исследований, отраженных в многочисленных набросках. Маседонио был своего рода Дюшан[20] от литературы. И если тот играл в шахматы в каком-то баре в Кадакесе, то этот — на гитаре у костра: струнный перебор был его опознавательным знаком, печатью на письме в никуда.

«Музей…» — книга по преимуществу неоконченная, но ее ни в коем случае нельзя счесть незавершенной. Незаконченность эта присуща самой ее природе. Будь она еще и посмертной, то приблизилась бы к тому разряду текстов, кото-

[19] Примечания: 19

Маседонио Фернандес (*исп.* Macedonio Fernández, 1874–1952) — аргентинский писатель и философ, оказавший большое влияние на многих аргентинских авторов, включая Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара и Рикардо Пилью.

[20] Примечания: 20

Марсель Дюшан (*фр.* Henri Robert Marcel Duchamp, 1887–1968) — французский и американский художник, скульптор, поэт, теоретик искусства и шахматист, стоявший у истоков или повлиявший на множество последующих направлений в искусстве, таких как дадаизм, сюрреализм, минимализм, концептуальное искусство и пр.

рые я когда-нибудь попытаюсь написать: книгу, которая может показаться оборванной, но на самом деле дописана полностью.

Когда-то я прочел, что в каком-то нью-йоркском музее открыли выставку незавершенных работ. Там были полотна Тёрнера, не экспонировавшиеся при жизни, — эскизы к другим картинам, и им не хватало гаваней, кораблей, мифологических мотивов. Было и батальное полотно Рубенса: верхняя часть композиции виртуозно прописана, а нижняя представляла собой лишь набросок и показывала остов того, чем могла бы стать эта картина, сейчас напоминавшая парижский Музей Помпиду, где вместо традиционного фасада — структура самого здания, его строгая и чистая внутренность. Кажется, что Рубенс, сам того не желая, создал произведение в стиле ультра-модерна, почти авангардистское, то есть комментарий к собственной работе: представил поле битвы и метод его создания.

Текст, сопровождавший эту новость, сообщал, что современное искусство намеренно не предлагает зрителю *законченных* работ, чтобы зритель дописал их силой своего воображения. И эта выставка, говорилось далее, представляет наш сегодняшний взгляд на произведение, когда его

одного уже недостаточно, и нам нужна некая дыра, некое зияние, чтобы завершить его.

Мне кажется, что эта дыра или, вернее, трещина подает тайный знак. И вспоминается афоризм Вальтера Беньямина[21] из его «Коротких теней»: «Тайные знаки. Во всяком познании, говорил он, должна содержаться частичка бессмыслицы, в узоре античных ковров или орнаменте фризов всегда можно обнаружить где-нибудь крошечное отклонение от точного рисунка. Иными словами, решающим является не продвижение от познания к познанию, а скачок внутри каждого отдельного познания. Это невзрачный знак подлинности, отличающий предмет от серийного товара, изготовленного по шаблону». И эта трещина позволяет нам добавлять те или иные детали к незавершенному шедевру. И в наши дни без этих брешей, которые открывают нам путь, заставляют работать наше воображение и служат метой, обозначающих незаконченность произведения искусства, мы, без сомнения, не могли бы шагу ступить, а возможно, и дышать.

---

[21] Примечания: 21

Вальтер Беньямин (*нем.* Walter Benjamin, 1892–1940) — один из величайших философов XX века, теоретик культуры, эссеист и переводчик.

&

Отчетливей всего у меня в памяти остались отдельные воспоминания чревовещателя Вальтера: яванский зонтик, севильский цирюльник, город Лиссабон, оборванная любовь, которые мой сосед искусно и тонко разбросал по всему пространству романа. В центре этих воспоминаний, если не путаю, — основной конфликт Вальтера, чревовещателя, который борется с неприятностью, весьма серьезной для человека его профессии: он наделен уникальным голосом, тем самым знаменитым *собственным* голосом, вожделенным для многих писателей, а для него, по очевидным причинам, представляющим изрядную проблему, с которой ему все же удается совладать, расщепившись на столько голосов, сколько рассказов или зарисовок содержится в его мемуарах.

Да, это запомнилось мне из «Вальтера…», которого я намереваюсь на днях перечитать. Когда я читал его раньше, то осилил, по правде сказать, не больше половины, однако заглянул, что правда, то правда, в последнюю главу, как поступаю всякий раз, когда хочу бросить книгу, но вместе с тем желаю знать, чем же дело кончится, а за-

глянув, выяснил, что чревовещатель сбежал из Лиссабона, пересек несколько стран и очутился посреди некоего спиралевидного канала, пронзавшего земную твердь, а когда уже казалось, что эта бесконечная тьма вот-вот всосет нашего героя, спираль эта вытолкнула его вверх и вернула в некое странное отдаленное место, где он, нимало не растерявшись, сделался рассказчиком в самом что ни на есть историческом центре, у истоков рассказа, то есть в древней счастливой Аравии.

И книга, по сути, — мне кажется, я предчувствовал тот день, когда по диагонали просмотрел этот финал, — это странствие к истокам рассказа, к его изустному прошлому.

6

Чего бы ни отдал я, начинающий писатель, склоненный над деревянным прямоугольником в кабинете, да, чего ни отдал бы я за обладание вот этим собственным голосом, который так мешает чревовещателю достичь совершенства в своем мастерстве?

Да ничего бы не отдал, потому что не вижу, как это меня касается. Ибо я не чревовещатель и, собственно говоря, не писатель, а всего лишь водитель дневника, бродящий по своему кабинету в поисках ответа на вопрос: какой облик может принять это насекомое, этот таинственный паразит повторений, который неустанно высасывает жизненную силу из зеленых листков или грызет листки исписанные, а потом скрывается за одним из тысяч поворотов жизненного пути.

Я продолжал размышлять об этих материях, обкатывая в голове текст, имеющий, бог даст, шанс быть набранным на компьютере, как вдруг посреди улицы Диагональ увидел женщину и, хоть и прошло сколько-то лет, узнал ту, которая так пристально смотрела на нас с Кармен, когда

мы из-за аварии на Трансальпийской трассе оказались на станции Киршбах. Мне показалось таким невероятным, если не невозможным, чтобы это была та самая дама, что так изящно курила на фоне снегов и чьего имени мы тогда не узнали, что я спросил себя, не пытаюсь ли я, в своем стремлении заносить в дневник все повседневные события и уклоняться от угрозы романа, так вот, не пытаюсь ли, спросил себя я, увидеть в реальности то, чего там нет?

Я подошел поближе и, как и следовало ожидать, убедился, что эта женщина не та, что была на станции Киршбах. И ведь на этом самом месте улицы Диагональ, на пешеходном переходе, ведущем к улице Кальвет, меня несколько месяцев назад встревожила другая женщина. И не вызывает сомнений, что именно это натолкнуло меня на мысль, что в этом отрезке есть нечто странное, и я не должен терять его из вида. В тот раз, когда это произошло впервые — несколько месяцев назад и всего через несколько дней после того, как бизнес мой развалился окончательно, — неизвестная девушка, которая шла в нескольких метрах впереди и говорила по телефону, вдруг вскрикнула и зарыдала так, что согнулась и рухнула на колени.

Вот она, пресловутая действительность, подумал я тогда. Такова была моя первая, холодная и единственная реакция при виде внезапно упавшей на колени девушки. Реакция несколько замедленная, быть может, от того, что после краха моей фирмы я ходил по улицам, отрешившись от всего, и был постоянно погружен в свой внутренний мир параллельный реальному.

Возвращение к случившемуся в тот день, тогда выяснилось, что девушка получила известие о смерти близкого человека, показало мне, что она пребывала в жизни и испытывала чувства, а я находился в той же самой жизни, что и она, однако, со значительно меньшей способностью чувствовать, чувствовать истинно и искренне, не призывая на помощь воображение. Я понял не только это, но и почему после этого девушка показалась мне заслуживающей восхищения и даже зависти, ибо она брала в расчет исключительно собственную и ничью иную жизнь и, быть может, поэтому с такой истинной силой испытывала боль, меж тем как я описывал дым параллельного мира, отчасти ослабившего мои связи с миром реальным.

Сказать по правде, сегодня я сделал шаг назад: чуть ли не оробел, увидев, что это вовсе не

женщина со станции Киршбах. Одного не могу понять: а чего я ждал? Каким образом она могла оказаться той, о которой я подумал? Я вдруг осознал, что в последнее время, когда я думаю о чем-то, моя прихотливая натура то и дело начинает желать, чтобы предмет моих раздумий немедленно оказался передо мной, там же, где нахожусь я, как будто я вдруг счел, что мне самому по силам сотворить реальность.

Замечу вкратце: этот сильный и внезапный порыв к реальности есть первое следствие того, что вот уже шесть дней я упражняюсь в писательстве. И я решил включить в дневник историю с женщиной из Киршбаха. Впрочем, у меня возникло впечатление, что историю эту я позабуду, прежде чем успею добраться до дома. И это случится хотя бы потому, что утреннее происшествие тесно связано с внезапным появлением в поле моего зрения Санчеса: мой знаменитый сосед стоял и курил, тупо уставившись в одну точку и прислонившись к стене у витрины магазина готового платья на улице Кальвет.

Подойдя поближе, я не замедлил сообразить, что он ждет свою супругу Делию, а та разглядывает товары в магазине. Он кисло улыбнулся мне и с театральным отвращением выбросил сигарету,

словно показывая, что он, хоть и курит, но безо всякого удовольствия. У меня возникло впечатление, что ему не нравится торчать посреди улицы, где его оставила жена, потому что таким образом он подставляет незащищенный борт прохожим, которые читали его книги: ну вот хоть мне, например, чтобы далеко не ходить.

Несмотря на брюзгливо поджатые губы и высокомерный взгляд, говорил Санчес со мной так же естественно и откровенно, как тогда, у входа в книжную лавку. И прежде всего уведомил меня, что субботы поистине ужасны. Я немедленно захотел узнать, в чем их ужас. Потому что с них всегда начинается разговор, объяснил он.

Поначалу я, как истый параноик, подумал, что это было сказано потому, что мы снова встретились, а он опасался, что сегодня не сможет быть столь же учтив, как в прошлый раз и, кроме того, что я втяну его в пустую беседу. Но нет, вышло иначе: выяснилось, что субботы его посвящены Делии, а она разрешает ему работать над статьей для воскресного номера газеты только с девяти до одиннадцати. В одиннадцать, по заключенному между супругами пакту, настает время прогулок и светской жизни, разговоров и выходов в город. Он внезапно выложил мне все эти сведения,

излил, так сказать, передо мной душу, словно мы знали друг друга всю жизнь.

Уверен, сказал он, что родители произвели его на свет не для уик-эндов. Тем не менее надо признать несомненным роскошеством эти два дня полнейшей свободы, которой наслаждаются обычные люди. (Тут он взглянул на меня так, словно прощал за то, что и я отношусь к этой категории.) После чего продолжил свои речи, сообщив, что всегда завидовал тем, у кого есть уик-энды. Потому что для него томительно-тоскливые и одуряюще-скучные субботы и воскресенья были хуже всякой пытки, тем паче что к этому прибавлялись тяжкие старания выглядеть и вести себя как все. Если он не сидел за своим письменным столом, то чувствовал страшное опустошение, и уточнил: «как будто вынули все кости и содрали шкуру». И я ему поверил, хоть мне и показалось, что в это не верит никто на свете, включая и его самого.

Я спросил, о чем он намеревается написать в своей колонке.

— О чарах, — был ответ.

Краткий и таинственный.

О чарах вообще, как таковых? О чарах, ответил он, которыми обволакивают нас фрагменты книг

и картин, которые мы не понимаем. Завтра он напишет о «Глубоком сне»[22]: например, о том эпизоде, где Лорэн Бэколл поет в какой-то лачуге — совершенно непонятно почему. Напишет и о том, что содержится в книгах и фильмах и не имеет ни малейшего смысла, потому что в них нет даже намека на связь с сюжетом.

В этот миг из дверей магазина вышла лучезарная Делия и пожелала узнать, над чем это мы смеемся. Поскольку мы даже не думали смеяться, то замялись, не зная, что ответить, и в нелепом хмуром молчании провели несколько нескончаемых секунд. Отчетливо слышалось журчание какого-то ближнего барселонского фонтана: звуки не очень мелодичные, плеск и стук.

— Мы говорили, Делия, что у тебя имя, как у сериала в стиле нуар, — на ходу сочинил Санчес.

Тогда она поинтересовалась, не Черная ли Делия[23] навела на нас на эту мысль, а я не нашел ничего лучше, чем, взглянув на Санчеса, сказать,

---

[22] Примечания: 22

«*Глубокий сон*» (или «*Большой сон*», *англ.* The Big Sleep) — ставший классическим фильм-нуар режиссера Говарда Хоукса по одноименном роману Реймонда Чандлера. Фильм вышел на экраны в 1946 году.

[23] Примечания: 23

Речь идет о зверском убийстве в 1947 году двадцатидвухлетней Элизабет Шорт, известной под прозвищем «Черная Георгина» (*англ.* the Black Dahlia). Убийство так и осталось нераскрытым и считается одним из самых загадочных преступлений, совершенных в США.

что субботы и в самом деле ужасны. Сказал я это в попытке сделать еще шаг к сближению с ним или, вернее, с ними обоими. Но тотчас же понял, что дал маху, потому что не кто иной как Санчес сказал мне, что субботы ужасны, а сказал он так потому, что по субботам жена таскает его с собой за покупками. Я осекся и впал в легкое замешательство, и мне показалось, что объяснений Делия потребовала от меня, а не от мужа.

Чтобы сгладить впечатление от своей неловкости, я не нашел ничего лучше, чем, прикинувшись пламенным поклонником его творчества, спросить, в какое время года лучше всего пишется. «Летом», ответила Делия. «Лето — самое неподходящее время для работы, — ответил Санчес, — потому что постоянно хочется выйти на воздух, тогда как с октября по февраль сидишь взаперти, и это просто идеально для высвобождения умственной энергии».

Сохраняя вид невежды, — не без злорадства, признаюсь, потому что мне нравится прикидываться, будто читаю мало — я припомнил стих Малларме.

«Зима, пора надежд и светлого труда»[24].

---

[24] Примечания: 24
Перевод Р. Дубровкина.

&

В течение нескольких минут мы шли вверх по улице Кальвет, а куда — я не знал. Уже набравший силу раннеиюльский зной умерялся приятным ветерком, и, не боясь впасть в преувеличения, скажу, что утро было чудесное, хотя этот подъем в гору в компании супружеской пары, с которой мне прежде не приходилось прогуливаться, давался мне нелегко в том числе и потому, что было не вполне понятно, что я делаю тут, шагая и как ни в чем не бывало беседуя с этими людьми, ни с того ни с сего попросившими меня сопутствовать им.

Мне вдруг показалось, что сейчас самое время сообщить Санчесу, что я собираюсь переписать его полузабытый роман. Это было тем более уместно, что могло бы придать смысл тому, что иду вместе с ними. Но я тут же спохватился, что раньше принял решение не оповещать его об этом, а, кроме того, счел ненужным придавать смысл нашей прогулке: достаточно переставлять ноги и двигаться прежним курсом.

Уразумев, что сообщение о намерении переписать «Вальтера…» впутает нас в ненужную интригу, я окончательно отказался от намерения

затрагивать эту тему или даже намекать на нее. Нельзя было и забывать, кроме того, что наши отношения никогда не поднимались до уровня дружеских, и, несмотря на многолетнее соседство, оставались отчужденно-доброжелательными, какие бывают у людей, которые при случае иногда могут перекинуться несколькими незначащими фразами, а иногда стараются не встречаться глазами, чтобы не пришлось здороваться. И то обстоятельство, что сейчас мы шли и беседовали так, словно знали друг друга всю жизнь, вселяло в меня известную тревогу: от того, наверно, что ситуация сложилась почти чрезвычайная. Но я не хотел обманывать себя. В манере Санчеса держаться сквозила некоторая спесь: вероятно, он считал себя выше меня во всех отношениях. Впрочем, я ведь и в самом деле почти ничего не знал о нем, он оставался незнакомцем, как и многие другие обитатели квартала Койот: они, как правило, были неприступны: холодно-любезны, а порой и не холодно, и никак не любезны.

Короче говоря, я предпочел все же не сообщать ему, что однажды, сочтя себя должным образом подготовленным, собрался переписать его давний роман. А вместо этого сказал, что вот уже три дня, с тех пор как он упомянул о нем, я думаю, как

выкроить время, чтобы отыскать «Вальтера...» в моей библиотеке и освежить его в памяти.

Мне показалось, что после этих слов он побледнел от ужаса.

— Освежить? Да ведь его уже никто не читает! — воскликнул Санчес, и мне показалось, что этот косвенный совет оставить в покое его злосчастную книгу вполне можно отнести к разряду «крик души».

По совести говоря, я прилгнул, когда сказал, что выкрою время и отыщу его давний роман, ибо в тот же вечер уже нашел книгу и текст, прочитанный на обложке, освежил мне память.

Девять из десяти новелл, составлявших книгу, говорили различными голосами чревовещателя. Ибо Вальтер, сумев в первой главе справиться со своим пагубным стремлением говорить собственным голосом, которое, как и следовало ожидать, сковывало его, заговорил на столько ладов — на девять, если точно — сколько глав имелось в его тенденциозных воспоминаниях. Главы были новеллами, а новеллы — главами. И читатель находил в этой книге не только воспоминания Вальтера, но и роман, в свою очередь состоящий из нескольких новелл. По крайней мере, так было написано на заднике, благодаря чему мне,

некогда бросившему книгу на середине, удалось получить исчерпывающее представление о ее структуре.

За разными голосами, звучащими в каждой главе, были замаскированы подражания — иногда пародийные, а иногда и нет — голосам великих мастеров рассказа: так, например, первый раздел, начальная глава книги, явно писался под сильным влиянием тона и стиля Джона Чивера; во втором звучал голос, узнаваемо передразнивавший прозу Джуны Барнс; третий носил явственные следы неповторимого борхесовского стиля; автор четвертого использовал повествовательную стратегию, очень характерную для Хемингуэя; а в пятом, называвшемся «Старые супруги», — рубленый стиль Раймонда Карвера[25]…

Короче говоря, я не рискнул сообщить Санчесу, что вечером, хоть и вскользь, но возобновил знакомство с его романом, написанным тридцать лет назад, и благодаря этому сумел вспомнить, что каждую главку предварял эпиграф из соот-

---

[25] Примечания: 25

Джон Чивер (*англ.* John William Cheever, 1912–1982) — американский писатель, автор прославивших его коротких рассказов; *Джуна Барнс* (*англ.* Djuna Barnes, 1892–1982) — американская художница и писательница-модернистка; *Раймонд Карвер* (*англ.* 1938–1988) — американский поэт и прозаик, мастер короткой прозы.

ветствующего «выдающегося мастера новеллы», что служило своего рода опознавательным знаком. И если уж я не захотел сообщать автору, что бегло просмотрел его текст, то и подавно незачем было упоминать о зубодробительно-густых фрагментах этих невыносимых, чтобы не сказать бредовых абзацев, чью невыносимость он в свое время оправдывал требованиями сюжетной интриги.

Я начинающий писатель, но зато обладаю многолетним опытом читателя, а потому не мог не подумать, что Санчесу лучше было бы просто вымарать эти абзацы. Имея при этом в виду, что в каждой из глав имеется, по крайней мере, один-два, а иногда и три таких путаных фрагмента. И в них рассказчик, как правило, сам чревовещатель, ибо это он выстраивает свои воспоминания, оказывается особенно медлительным, до тошноты вязким и чудовищно густым, невразумительно занудным, создавая впечатление, будто голова у него, что называется, раскалывается, а талант повествователя лежит в дрейфе, и в результате кажется, что это написано человеком, мягко говоря, слабоумным или пребывающим в состоянии тяжелейшего похмелья.

Не хотелось мне также говорить, что «Валь-

тер…» напоминал ту эпоху конца XIX века, когда повсюду и больше всего во Франции многие писатели противопоставляли жанр рассказа роману, считая первый символом и признаком новой эстетики равновеликим второму или даже превосходящим его.

Да я ничего этого говорить не хотел и не знаю, как так вышло, что все же вымолвил, что крепче всего врезались мне в память вот эти густые и полубессвязные фрагменты. А сам-то он помнит их? Я ждал ответа, но он молчал — и так долго, словно ему больно было припоминать именно это. «Счастье еще, что никто не помнит о нем», — сказал он недавно Ане Тёрнер. И несомненно, ему только что был причинен ущерб невосполнимый. Я взглянул на Санчеса, ища подтверждения своей мысли, и заметил, что он просто в ярости и, наверное, думает: одно дело, когда я браню свой собственный роман, но то, что позволяет себе этот сосед, уже ни в какие ворота не лезет.

&

Свернув на улицу Ректора Убаха, Санчес наконец нарушил молчание и, любезным тоном, почти наверняка скрывавшим глубинное раздражение, сказал мне, что вот эти самые пассажи

один критик в свое время определил как «приступы морской болезни» и, кажется, попал в яблочко. Само собой разумеется, продолжал Санчес, что эти фрагменты он сделал такими непродираемо густыми намеренно.

С этой минуты он начал запинаться и путаться в словах. Думаю, он понял, как дорого обойдется ему давешний флирт с Аной Тёрнер, когда в моем присутствии сказал, что некогда написал плохой роман.

Во всех без исключения этих тошнотворных фрагментах, в каждом из них, с первого до последнего, продолжал Санчес, есть нечто общее: автор, создавая их, жестоко страдал от последствий прошлой ночи, столь же буйной, сколь и пьяной. И, отдавая в печать совершенно безумную книгу и не попытавшись даже хоть как-то выправить текст, он вынужден был изобрести некое оправдание этой гадкой болтанки, без которой не обошлась ни одна глава, и вот тогда-то и заявил журналистам, что все эти промахи и ошибки совершил сознательно и намеренно, в рассуждении показать всему миру, что и у «великих мастеров рассказа», как определил он своих десятерых новеллистов, тоже случались свои сбои, огрехи и провалы, потому что они были не боги, а люди.

Эти стилевые ухабы и рытвины были созданы им самим, говорил он всем журналистам. И созданы ради того, чтобы все видели: главные произведения двух последних веков не безупречны, не совершенны, ибо лучшие авторы стремились запечатлеть в собственных повествованиях мировой хаос и показать, как трудно понять и выразить его… Он говорил это всем журналистам и исключительно для того, чтобы скрыть огрехи этих дурацки-густых фрагментов и чтобы ему не тыкали в нос их корявостью. Несомненно, он мог бы выправить текст, но в ту пору был слишком занят и не хотел утруждать себя этим, потому что его снедало безудержное желание напечататься, он пребывал в страшной спешке (признаваясь теперь, что ее следует квалифицировать как дурную советчицу), нуждался в деньгах и жаждал известности; полагал, что если издаст эту книгу, то так оно и пойдет: он будет сочинять и дальше, и жить своими сочинениями безбедно.

— Я сказал все это, просто чтобы скрыть огрехи. Не представляешь, как спокойно на душе, когда ты издаешь книгу и заявляешь во всеуслышание, что фрагменты твоих рассказов сделаны такими диковинными намеренно, чтобы показать: не только они несовершенны, но и у великих ма-

стеров рассказа отыщутся провалы. И это алиби сработало. Большинство поверило, что я провел очень интересный, хотя и, что уж тут говорить, утомительный эксперимент.

— Покайся, скотина, — неожиданно вмешалась Делия, и я не сразу понял, что это она так шутит.

Санчес остановился и с расстановкой, в несколько приемов закурил, полагая, наверное, что это охладит пыл его возбуждения.

— На колени, грешник! — добавила Делия, обратив к нему взор, полный ненависти, которую хотелось бы, но не очень-то удавалось считать напускной.

Я меж тем думал: что же, замысел был недурен — опубликовал книгу и немедленно отыскал объяснение тому, что не достиг уровня Джона Чивера, например. Или, скажем, Джуны Барнс. Или кого-либо из тех, кто для тебя «великий мастер рассказа». Тем самым сумел избежать критических слепней и оводов. И ты даже стал лучше спать по ночам.

И еще подумал, что при внимательном рассмотрении выяснится, что заявить о несовершенстве великих мастеров — значит изречь непреложную истину.

Делия же улыбалась, на этот раз загадочно.

Чему? И в чем загадка? Впрочем, может быть, таинственность была ей присуща от природы, и никакой тайны ее улыбка не таила.

Да что мне за дело до Делии и вообще до всего на свете? И вообще я не любитель тайн. Хотя по здравом размышлении очевидно, что дело мне все-таки есть: меня занимали особое напряжение, разлитое в атмосфере нашей встречи, и слова, будто мимоходом сказанные Санчесом, и его взвинченность, и нескончаемая шрапнель его судорожных фраз, и неестественность всей ситуации.

Зачем они пригласили меня подняться с ними по улице Кальвета и свернуть на улицу Ректора Убаха? На самом деле я — продолжал размышлять я — впутался во все это ради игры, а может быть, и ради того, чтобы научиться писать и чтобы лучше узнать человека, забытый роман которого я собираюсь переписать и, само собой, улучшить.

Когда дошли до улицы Арибан, я расстался с четой Санчесов. Из опасений, что в любую минуту он потребует у меня объяснений и скажет, чтобы оставил в покое его книги. Я знал, что, если прозвучит что-то в этом роде, я почувствую себя нелепо-назойливым зевакой, который лезет не в свое дело, и тогда в буквальном смысле сгорю

со стыда.

— Счастливо, Мак, — сказал Санчес так, словно знал меня всю жизнь, словно всегда называл меня просто по имени.

— До свидания, — сказала Делия.

И тут я начал отделяться от супругов, думая о том немногом, что знал об этом фешенебельном участке квартала Койот, который я давно уже мысленно и тайно воссоздал заново, превратив его невесть почему в нечто ужасающее и очень похожее на Койот-Юг.

[ГОВ~~НО~~РОСКОП 6]

«Старайтесь развивать отношения, касающиеся проекта, который, хоть и не сулит быстрой выгоды, открывает блестящие перспективы».

Наверное, Пегги имеет в виду блестящие перспективы, которые открывает передо мной замысел тайно повторить роман Санчеса, а также и то, что сегодня, в субботу, я развивал важные отношения.

Поскольку в газете был указан мейл Пегги Дэй, я, охваченный внезапным приступом отваги, а равно и нервным беспокойством и нетерпеливым желанием узнать, дошли ли до ее ушей слова, недавно и публично произнесенные мною

по ее адресу, а также поддавшись минутной слабости, усугубленной переизбытком джина, написал ей следующее:

«Я Мак Вивес, может, помнишь С'Агаро лет сорок назад. В дождь мы слушали его шум. И гром. Если было сухо, являлись босые ко входу «Фламинго», и наши танцы не кончались никогда. Я мечтал защитить тебя от всего мира, хоть ты, может, в этом и не нуждаешься. Я оборвал наши отношения, можно сказать, на полуслове. Прости за мою безответственность. И знай, что сегодня ты попала в самую точку, предсказав, что со мной случится. Ибо я и в самом деле начал усиленно развивать отношения, которые непременно приведут меня к великим свершениям. Твой Мак».

Уже отослав письмо, я сообразил, что вполне мог бы обойтись без этой выходки, но поздно спохватился. И, оглушенный своей оплошностью, начал бесцельно бродить по квартире в состоянии боксера после нокдауна. Чтобы противостать этой растерянности, я решил пойти в спальню, а свет в квартире не гасить, однако вовсе не затем, чтобы безудержно расходовать электроэнергию, а лишь потому, что подумал: всякий переизбыток помогает ощущать себя живым, и таким диковинным способом даже делает нас живее, чем

мы есть.

&

Я просыпаюсь, я встаю, торопясь записать все, что запомнил из своего кошмара. В нем кто-то настырно говорил мне:

— Слушай, все же это очень странное желание — написать роман своего соседа.

7

Кармен пришлось срочно отправляться в свою реставрационную мастерскую, которая, хоть дела ее в последнее время шли недурно, порождала множество проблем и требовала, чтобы хозяйка проводила на работе все больше времени. Мало того: увеличился приток клиентов, и можно предвидеть, что в обозримом будущем это изрядно осложнит жизнь, ибо работать придется и по воскресеньям. Я спросил, скоро ли Кармен вернется, и узнал от нее, что обладаю редкой способностью портить ей настроение. Подумать только, столько лет женаты, вырастили и, можно сказать, поставили на ноги прочно, надо сказать, поставили троих детей, а я до сих пор не знал об этом своем умении портить жене настроение, всего лишь осведомившись, в котором часу она придет домой.

Я спустился вместе с нею в гараж, осторожно, учитывая ее ранимость, сел в машину и попросил Кармен подвезти меня к газетному киоску.

— Да это же в двух шагах, — запротестовала она.

Я не стал отвечать, опасаясь, что меня накроет взрывом опасного неудовольствия.

У киоска, к моей досаде, стояла, как всегда по воскресеньям, очередь, и пришлось ждать, но еще больше взбесило меня, что сегодня за газетами пришли те самые люди, которые в остальные дни недели в руки их не берут. Точно так же, во времена моего отрочества, эти люди приходили по воскресеньям в кондитерские и выстраивались у входа в очереди, казавшиеся нескончаемыми. Разумеется, в нашем квартале Койот имеется и дополнительный стимул для покупки воскресной прессы: люди приходят еще и чтобы полюбоваться бюстом киоскерши.

У каждого квартала — своя блажь.

Сидя в «Блэк-Бар», я временами ненадолго задумывался над тем, что, поскольку мой статус начинающего писателя несколько затягивается и конца ему не видно, я буду уютней чувствовать себя на волне Маседонио, Дюшаном от литературы.

В моем распоряжении имелись три газеты, однако я препровождал время не чтением, а размышлениями о том, что сказал выше, а также и о том, что в последнее время привлекало мое внимание: на свете столько рассказчиков, счита-

ющих, что вполне готовы написать роман, они так невероятно уверены, что готовы, и в своем непомерном тщеславии убеждены, будто способны сделать это и очень хорошо сделать, ибо много лет учились, а сами умны и начитанны, изучали современную литературу и, определив, на чем споткнулись другие писатели, себя считают годными к этой профессии, особенно если купили и удобное рабочее кресло, и мощный компьютер.

А потом, когда не удается довести до конца роман, о котором мечтали так платонически, иные буквально шалеют. Эссеистка Дора Рестер полагает, что работа над романом — это не возведение целого обелиска, а нанизывание одного фрагмента замысла за другим. «Мастерство заключено в попытке, а понимание того-что-находится-вне-нас при использовании лишь того, что внутри нас — это одна из самых сложных задач, затрагивающих интеллект в той же степени, что и эмоциональную сферу».

Я бы не стал заходить так далеко. Или стал бы. Сам не знаю, но верю в одну истину: сочиняя роман, рекомендуется идти шаг за шагом и двигаться с крайней — и край этот должен быть остро отточен — осмотрительностью. И я буду соблюдать все предосторожности, и только в них

я черпаю надежду переписать Санчеса.

&

В обеденное время я зашел за Кармен и нашел ее в невыносимо скверном расположении духа, которое, впрочем, она сразу же попыталась пересилить, чтобы уменьшить ею же самой созданное напряжение, повисшее между нами. Попытки ее были недолги, и следом немедленно вспыхнул конфликт. Я намеревался уступать во всем и как можно раньше проиграть спор, но мне и этого не позволили, зато вынудили обратиться к Кармен с призывом признать себя жертвой депрессивного психоза и принять для обуздания его соответствующие меры. Кроме того, хотелось бы, чтобы она имела в виду, что если продолжит жаловаться на свой дом и требовать переустройства его (новую кухню и т.п.), то из виду этого не упускала и то обстоятельство, что, хотя я разорен, как ей хорошо известно, еще не полностью, но изыскать средства для требуемых ею реформ мне будет затруднительно.

Как и следовало ожидать, когда я довел все это до ее сведения, положение ухудшилось: Кармен принялась орать на меня, причем на всю улицу. И в довершение бед, едва лишь мы дошли

до «Тендер-Бара» — ровно в тот миг, как я стал думать о разводе: да, я остался бы без средств к существованию, но я иногда для того и обдумываю развод, чтобы отринуть эту неотвязную идею — налетел поистине дьявольский летний ураган, который, как мне при моих раздерганных нервах показалось, дважды менял направление.

Хлынувший ливень затопил все вокруг, и, сдается мне, никогда еще не бывал я в таком душевном упадке. К тому же я был далеко от моего письменного стола и от моего дневника, и это заставило меня понять, что всего лишь за одну неделю то и другое сделалось для меня совершенно необходимым.

Внезапно мною овладело беспокойство, природу которого понять было очень несложно: не превращаюсь ли я в разновидность «освежеванной бескостной туши», какой, покидая свой кабинет, якобы становился Санчес? Или, может быть, я влезаю в шкуру Джона Чивера: воздействие этого писателя, который при всем своем таланте погружается порой в чернейшую чащобу, в дремучие дебри, обнаруживается в рассказе «У меня есть враг», открывающем книгу про Вальтера и его мытарства?

В первой главе этой книги, принадлежащей

перу моего соседа, повествователь говорит порой голосом Чивера, когда в своих дневниках, исполненных внутреннего напряжения, распространяется о мировых проблемах, а после каждого изрядного глотка джина неизменно возвращается к мысли о разводе.

Последнее время я, раздумывая, не расстаться ли нам с Кармен, спрашиваю себя: отчего бы не сходить в «Субиту» и не повидать Ану Тёрнер? Просто отправиться туда и повидать ее, отринув все предосторожности и всякую сдержанность: войти твердым и решительным шагом и сыграть ва-банк, предложив ей бежать со мной. Знаю заранее, что ничего из этого не выйдет, я ей нимало не интересен, а кроме того, у меня и денег-то нет на бегство или на что-то подобное, однако мне отрадно думать, что следует хотя бы попробовать это, чтобы мгновенно забыть о последнем скандале с Кармен и чтобы хотя бы отчасти оказаться в ладу с самим собой.

В рассказе «У меня есть враг», где имитируется голос Чивера, сам чревовещатель не впрямую предается воспоминаниям о том, как его уже давно преследует некий Педро, существо из разряда «бескорыстный ненавистник», который очень упорно старается подорвать его дух, что ему вре-

мя от времени и удается: в общем, что-то вроде профессора Мориарти, только труба пониже и дым пожиже.

Предположив, что все его злосчастья проистекают от этого неутомимого преследователя, Вальтер ему же, своему бескорыстному врагу, приписывает то плачевное обстоятельство, что ныне владеет одним-единственным голосом, собственным, и это порождает серьезные сложности в работе с его куклами, с его марионетками. Злосчастья происходят с пугающей регулярностью до тех пор, пока в одну удивительную ночь: удивительную не только потому, что именно тогда случилось внезапное исчезновение его ненавистника, который в сиянии безупречно округлой луны отправился в Тихий океан, чтобы сгинуть навсегда, но и потому, что чревовещатель полностью лишился дара речи.

Не в том смысле, что потерял голос, а буквально онемел, и уверен к тому же, что это навсегда, что он никогда больше не заговорит и ему нечем будет зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее через несколько дней его тяжелая афония начинает постепенно исчезать, он уже может произнести кое-какие слова и с удивлением отмечает, что вместе со способностью говорить к нему

возвращается и обширное разнообразие голосов, которых было у него в избытке, пока не лишился их по вине своего неугомонного личного диссидента, по вине упертого персонального врага, по вине назойливого бескорыстного ненавистника — лжеца по имени Педро.

Преодолев препятствие в образе этого существа, принуждавшего чревовещателя к одному-единственному голосу — «собственному голосу, столь вожделенному именно романистами» — автор со стилистическими приемами Джона Чивера завершает рассказ:

«Исчезновение моего ненавистника позволило мне вновь обрести все мои голоса, из чего я делаю вывод, что он застрянет где-то в Южных Морях и не вернется никогда-никогда, и имею все основания уповать, что на каком-нибудь отдаленном и грязном островке в Тихом океане, сидя в какой-нибудь хижине под соломенной крышей рядом с четырьмя туповатыми братьями-маристами[26], хранит этот самый Педро мой *собственный голос* в одной из серебряных шкатулок, которыми, по слухам, так гордятся обуянные нелепой ненавистью коллекционеры».

---

[26] Примечания: 26

Мари́сты — члены Общества Девы Марии, католической мужской монашеской конгрегации, основанной во Франции в 1816 году.

Покуда я крутил все это в голове, мне показалось, что в «Тендер-Баре» ветер в третий раз изменил направление. И тотчас, вдруг, как по волшебству, утих ливень. Застенчиво стал возвращаться зной, и подтвердилось, что мы в Барселоне, где уже сто лет не бывало такого жаркого лета.

Улеглись страсти: мои, в особенности. И, чтобы не продолжать споры с Кармен, я начал биться над захватывающе интересной, хотя и неразрешимой задачей: определять различные оттенки зеленого, которыми можно было бы описать каждую из дождевых капель, оставшихся на листах деревьев.

— Сдаешься? — спросила Кармен.

— Разумеется. Мне никогда не нравилось побеждать.

Я ответил так, потому что думал совсем о другом: как бы поскорей выйти отсюда и оказаться все равно где, лишь бы не там, где нахожусь сейчас.

— Вот и снова мы в счастливой Аравии, — прозвучал голос.

Голос мертвеца, обитавшего у меня в голове и вот — ожившего.

— Ничего подобного. Там теперь минное по-

ле, — ответил я.

А ведь роман моего соседа, заметьте, что он написал его тридцать лет назад, оканчивается в Йемене, куда в ту пору можно было приехать спокойно и где еще сохранялся налет идиллии, и побывавшие там друзья рассказывали мне, что тому, кто попал на несколько дней в необыкновенный город Санаа, кажется, будто он оказался в некой цитадели, оберегающей светозарные следы древней счастливой Аравии — земного рая, откуда во времена древних греков из порта Моха везли кофе и ладан.

[ГОВНОРОСКОП 7]

«Вы вступаете в период, сложный в экономическом отношении и особенно в аспекте супружеских ресурсов».

На этот раз Пегги Дэй своим прогнозом попала в самое яблочко и разве только забыла добавить — хоть можно не сомневаться, что краем уха слышала об этом — что я не вполне еще разорился, но в скором будущем, скорей всего, поступлю на иждивение Кармен, притом что всю жизнь думал, что выйдет наоборот.

Хочу верить, что этот гороскоп и есть ответ Пегги на мой вчерашний мейл. Ответ двусмыс-

ленный и довольно грубо пытающийся сообщить мне, что ей известно, как я завишу от моей жены. Однако вовсе не исключено, что все это игра воображения и не имеет отношения к действительности, а Пегги и в глаза не видела моего письма. А потому днем пришла минута, когда я решил больше не думать об этом, изменил направление своих мыслей и стал читать о концерте Боба Дилана в Барселоне. Прежде всего он исполнил композицию «Things Have Changed», написанную для «Вундеркиндов»[27], и, по всему судя, исполнил ее, не двигаясь.

[27] Примечания: 27

«*Вундеркинд*» (2000) — комедийно-драматический фильм режиссера Кёртиса Хэнсона.

8

Я обедал у Хулии, в очередной раз нанося ей один из самых, наверное, часто повторявшихся визитов: сам затрудняюсь сказать, как часто обедал я у сестры. Но сегодняшний обед слегка отличался от остальных. Во-первых, из-за этого синдрома повторения, который, кажется, стал частью моей природы и заставлял меня ощущать бремя всех предыдущих встреч, происходивших в этом доме. Во-вторых, потому, что я сосредоточился на том, чего раньше как-то не замечал: моя старшая сестра Хулия не пишет, не пишет и ее муж, и уж тем более не пишет моя вторая сестра Лаура, как не пишут и трое моих сыновей, давно и прочно укоренившихся в процветающем бизнесе, — как никогда не писали мои родители и деды с бабками, и вообще нет у меня в родне никого, кто поддался бы искушению литературы.

Тут я заметил, что всего неделю как начал вести этот дневник, а уже начал обращать внимание на истории, которые меня до сих пор никак не интересовали. К примеру, я подумал, что мой пресловутый синдром отлично укладывается в

рамки жанра, который можно определить как «литература повторения».

О таком я раньше не помышлял. Уже войдя в дом Хулии, я представлял себе, как она меня спросит, чем же я занят теперь, когда остался не у дел, а я отвечу ей:

— Литературой повторения.

Это бы прозвучало таинственно для Хулии, а отчасти и для меня, поскольку я еще не до конца понял особенности и суть нового жанра.

Однако моя сестра не принадлежит к разряду спрашивающих: «Что ты делаешь теперь, когда ничего не делаешь?», а потому я переключился на нечто более обыденное, но от того не менее важное, и стал размышлять об исключительном качестве супов, включая и те, которые сейчас, в летнюю пору, когда, вот как сегодня, душа просит гаспачо[28], готовит моя сестра. Вот истина неколебимая как храм: они в самом деле очень хороши. Они изумительны и были такими всегда. И, кроме того, как говорила великая Вислава

[28] Примечания: 28

Гаспачо (*исп.* gaspacho) томатный суп-пюре (холодный, с оливковым маслом и уксусом).

Шимборска[29] о своей семье (а семья у нее так же не владеет пером, как и у меня): «Супы необыкновенные — их можно есть в спокойном сознании того, что ни одному из них не грозит опасность пролиться на какую-нибудь хрупкую рукопись».

За обедом в этом уютном доме, обитатели которого, Хулия и ее муж, живут без литературы, я малость перебрал. И ближе к концу чуть было не попал в смешное положение, но все же сумел удержаться на самом краешке, потому что успел вовремя устыдиться и не сказать Хулии — сказать путано и сумбурно, что, надеюсь, мне удастся изобразить здесь — что смотрю на нее, как на большую реку: и это вот внезапное превращение сестры в могучий полноводный поток превращает ее в моих глазах в точный и верный образ моей жизни, как если бы она и воплощенная в ней река вместили в себя, предельно сжав, мой опыт и мою судьбу, так прочно связанные с нашим любимым детским впечатлением от блаженного плавания на кораблике вниз по течению Гароны, от наших пиренейских лет, когда я был уже готов лишиться чувств, если вдруг видел остатки мяса

[29] Примечания: 29

Вислава Шимборска (1923–2012) — польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии (1996). Неточная цитата из стихотворения «В честь моей сестры».

на тарелках…

По счастью, я вовремя спохватился, что адресовать все эти рацеи Хулии, чтобы олитературить, так сказать, мой визит, будет затеей столь же безумной, сколь и неясной, а кроме того, явным образом обнаружит, что я вместе с бизнесом лишился и душевного равновесия, а также — с каждым днем все более очевидную тенденцию чрезмерно выпивать здесь, у Хулии, не говоря уж о склонности строить все более длинные и витиеватые фразы, каковую склонность я несколько дней назад объяснил намерением закрепить их в памяти, чтобы потом занести в дневник, но вот этого, к сожалению, сделать мне так и не удается.

Но я сдержался, и в привычном родственном застолье восторжествовал мир, хоть и довольно своеобразный, потому что выпил я и в самом деле очень много.

Теперь глазами памяти я вижу эту прощальную сцену: безмолвный и неподвижный, я стою на площадке лестницы, а потом жду, когда закроются металлические двери лифта, и в тот самый миг, когда это происходит, избыток выпитого дает себя знать, и я молча плачу, говоря себе: мы же брат и сестра, но обращенные к ней слова

неизменно кажутся мне неким метафизическим построением, полностью постичь который Хулии никогда не дано. И наоборот. Не важно, сколько мы прожили, не важно, как сильно мы любим друг друга: и она, и я навеки будем заточены в самих себе. А ведь мы — брат и сестра.

[ГОВНОРОСКОП 8]

«Неблагоприятное время для оценки своих предложений и для заключения важных договоров: вы можете столкнуться с препятствиями», — сообщает Пегги Дэй.

Это с ней, что ли, предлагает она не заключать договора? Или имеет в виду человека, с которым я начал развивать «отношения, которые непременно приведут к значительным событиям», и от души рекомендует выждать, пока он мне наскучит, и тем самым избежать неприятностей?

То, что я послал ей электронное письмецо, в известной степени отдало меня во власть ее прогнозов, а потому я, скорей всего, уже начал превращаться в некую разновидность Лидии де Кадакес и как безумный вычитывать в гороскопах Пегги ответы на свое, будь оно проклято, послание.

Что правда, то правда: я развлекаюсь. Но ведь

всякий праздник в конце концов непременно оставляет горький осадок. Минуту назад я смотрел в окно и мысленно руководил движением редких прохожих, которые в десять вечера шли по улице. Думаю, что Кармен уже привыкла видеть меня у окна в этот час и полагает, что эти мои визуальные зачистки окружающей среды — еще одно последствие моего безделья и растерянности, которые, по ее мнению, владеют мной с тех пор, как я свернул со своей обманчиво торной бизнес-стези.

Подобный взгляд несправедлив. Я очень часто и подолгу смотрю и засматриваюсь в окно — и оттого кажусь растерянным? Пусть так, спорить не стану, но это может случиться с каждым. Да, случаются такие моменты, когда я и сбит с толку, такие секунды, когда не знаю, что мне делать, но и все на этом. Есть и часы, когда я занят до крайности. Вот, к примеру, сию минуту я был чрезвычайно занят, когда, стоя у окна, воображал, как посреди улицы окликаю Санчеса и осведомляюсь насчет второй главы (или рассказа) в его романе, озаглавленной «Поединок гримас», и принимаюсь потом расспрашивать его о кое-каких аспектах истории, которые не перестают меня интересовать.

И ведь не далее как нынче утром, прежде чем отправиться к Хулии, я перечел «Поединок гримас» и убедился, что это сильно смахивает на Джуну Барнс. Эта писательница, в наше время мало читаемая, была популярна в Испании в середине 80-х, и, помнится, произведения ее обсуждались в литературных приложениях, особенно — к газете «Эль Паис», где критик Азанкот обозвал ее лесбиянкой и заявил, что своей незаслуженной славой она обязана поддержке Т. С. Эллиота. Эта пропитанная черной желчью критика знаменовала наступление иных времен: пришествие социальных сетей, где, как написал недавно Фернандо Арамбуру[30], карают творцов за притязания на поиски счастья в прилюдной демонстрации словотворчества и игры воображения.

Но Санчеса, как видно, не смутила эта критика, ибо иначе он не стал бы включать Джуну Барнс в свою книгу. Я в свое время читал ее и сохранил о ней отрадные воспоминания — у нее изящный стиль, где архаические обороты умело соединены с новаторскими ритмическими ходами. Сменив ночь (когда была больна и пьяна)

[30] Примечания: 30

Фернандо Арамбуру (*исп.* Fernando Aramburu, род. 1959) — современный испанский (баскский) писатель, переводчик и преподаватель.

на безмятежность дня, стала необыкновенной перфекционисткой: говорят, работала по восемь часов три-четыре дня кряду ради двух или трех стихотворных строчек. В девяносто лет она умерла от истощения, буквально уморив себя. Фьетта Харке[31] пишет, что осталось неизвестным: забывала ли она есть или держала этот гибельный пост сознательно. Так или иначе, кажется, будто она захотела уйти, как тот, кто идет навстречу рассвету.

&

Я бы сказал, что «Поединок гримас» напоминает рассказ Джуны Барнс, название которого не помню, хотя сам рассказ когда-то давно все же читал. Там Барнс показывает ужас матери, осознавшей, что произвела на свет сына, который с точки зрения этики являет собой человека аморального, коварного и такого же ужасного, как она сама. Фраза, взятая Санчесом в качестве эпиграфа к одной из глав романа, не затрагивает вопросов морали, но проникнута неприязнью к

[31] Примечания: 31

Фьетта Харке (*исп.* Fietta Jarque) — перуанская писательница, журналистка и литературный критик, с 1984 года живет в Испании, ведет колонку в «Эль Паис».

образу этого самого сына. Возможно, она взята как раз из этого рассказа: «Наследник мой подобен мыши, захлебнувшейся в капле воды».

В «Поединке гримас» чревовещатель — сразу же узнается, что это от его лица ведется первый рассказ, а значит, существует некое неразрывное единство этих рассказов — приходит к своему сыну, которого не видел двадцать лет и, обнаружив всю его омерзительность — «Господи Боже, зачем так упорно тщимся мы продлить более чем несовершенный род человеческий?» — замечает также, к своему безмерному изумлению, что мы, прекрасно сознавая, что мир — дерьмо, все-таки продолжаем как ни в чем не бывало, продолжаем, я хочу сказать, заводить детей, «существ, приходящих в этот мир исключительно ради того, чтобы множить количество монстров, населяющих планету Земля», все так же «неустанно пополняем ряды ни к чему не пригодных особей, которые непрерывной чередой идут из глубины веков умирать перед нами, а мы все пребываем в наглом ожидании чего-нибудь, сознавая при этом, что ждать нам нечего…».

В «Поединке гримас» сквозь несложный криминальный сюжет, проходящий по всему роману, постепенно проникают, набирая силу, элемен-

ты чего-то иного. Один из них — он кажется маловажным в этом рассказе и почти случайным, не привлекающим к себе внимания, — это «яванский зонтик», забавное изделие, которым чревовещатель позднее убьет севильского цирюльника.

В определенный момент сын обрушивается на отца и сообщает, что с него довольно:

— Ты измучил меня, папа. Я — поэт, а ты — всего лишь безработный чревовещатель, истерзанный неудачами и злостью, а еще — завистью к тем коллегам, кто добился успеха и кого ты, не сомневаюсь, сожрал бы живьем.

В ответе отца звучит спокойная и мудрая насмешка:

— Не беспокойся, я попрошу увеличить нам обоим жалованье.

Это вроде бы не вяжется с тем, что выкрикнул ему сын, однако на самом деле имеет к нему прямое отношение, ибо намекает на то, что и сын не зарабатывает денег, он тоже бедствует, волоча за собой бремя отцовских неудач.

Несколько позже мы видим, как под оглушительный рев вертолетов, прибывших тушить пожар в лесу поблизости, отец и сын нашли убежище — и в этом бегстве столько же траги-

ческого, сколько и комического — на чердаке соседского дома. И там начинается их впечатляющий поединок гримас.

Чревовещатель пишет: «Моему сыну очень пришлись по душе идея и правила этой дуэли: мы должны довести до пределов наши гримасы — самые личные, самые интимные, невозможные ни для кого иного, кроме каждого из нас, и, не смягчая их, дойти до самых что ни на есть язвительно-едких и неотразимо-уничижительных».

В финале победителем выходит отец: он оказывается более *гримасным*. А последняя его ужимка, когда указательными пальцами он растянул себе рот, так что все зубы вылезли наружу, а большими — оттянул веки, выпучив глаза, столь чудовищна, что его бедный сын, его злосчастный соперник, не в силах придумать гримасу пострашней, сдается. Силы оказались неравны. Победу одержал тот Монстр, что был старше годами: Вальтер.

Вечером опечаленный, растерявшийся и потерявший победу сын, с каждой минутой все горше оплакивающий поражение, словно бы бродит по непроглядно-черному белому свету, по территории страха и недоверия, и застревает на некой горестной фразе, которую твердит снова

и снова, как больной попугай. И повествователь вдруг начинает вещать заплетающимся языком, словно в полусне, или выпив какого-то зелья, или просто перебрав спиртного. И не происходит решительно ничего, если не считать наших страданий от жестокой качки — не килевой, а стилевой. Нетрудно найти эти тягостные явления в романе Санчеса, потому что, сколько мне помнится, эти вот моменты, которые свинцом обрушиваются на голову ничего не подозревающего читателя, — это абзацы, состоящие, как правило, из нескольких фраз, настолько рыхлых и бессвязных, тяжеловесных и неуклюжих, что вчуже стыдно за автора.

И наконец, оставив позади доведенную до предела битву за самую неповторимо личную гримасу, каковая битва шла меж Вальтером-отцом и Вальтером-сыном, одолев морскую болезнь, вызываемую этими фрагментами, доходим мы до финальной сцены рассказа и наблюдаем, что неприятность, проявившуюся в обладании одним-единственным голосом, чревовещатель по воле рока смог передать по наследству своему злосчастному сыну, который, помимо прочих дарований, обладал умением застревать иногда на одной фразе.

Финал этого рассказа почему-то не запомнился мне, так что, добравшись до конца, я удивился, встретившись с этим назойливым «повторяющимся эпизодом», то есть — с тоскливой фразой больного попугая, которая не сходит с уст у мерзопакостного сынка, и воскресила в моей памяти тот знаменитый эпизод из фильма Стенли Кубрика «Сияние», где зрители убеждаются, что у Джека Торранса не все дома. Эпизод наводит метафизический ужас. Уэнди подходит взглянуть, что же пишет ее муж, и обнаруживает, что тот самозабвенно печатает одну и ту же фразу, повторяя с пугающей настойчивостью: «All work and no play makes Jack a dull boy[32]».

А фраза, на которой заколодило сына чревовещателя и которую он время от времени начинает повторять по четыре раза, звучит так:

Не было бы тени, если бы не сияло солнце.
Не было бы тени, если бы не сияло солнце.
Не было бы тени, если бы не сияло солнце.
Не было бы тени, если бы не сияло солнце.

[32] Примечания: 32

Нескончаемая работа без отдыха и развлечения делает Джека скучным малым (*англ.*).

9

Ничего на свете нет своеобразней соседа. Оскомину набили постоянные сообщения в СМИ о том, как один сосед убил другого, а третий, то есть общий их сосед, заявил, что в жизни своей не видел более нормального человека, чем этот внезапный убийца. Как-то на днях кто-то пошел еще дальше и сообщил по телевизору, что убийца, живший рядом, на той же лестничной клетке, всегда казался ему «нормальнейшим соседом». Услышав это, я вспомнил, что нет ничего нормальней смерти, и спросил себя: нормально ли умереть от рук нормальнейшего из соседей?

Закон, принятый в Виши, запрещал евреям держать кошек. Кот, принадлежавший родителям Кристиана Болтянского[33], однажды замяукал на коврике у соседского балкона. Ночью эти соседи — люди интеллигентные и воспитанные, позвонили в дверь и предложили им на выбор: либо они сами убивают своего кота, либо гестапо станет известно, что евреи нарушают закон.

---

[33] Примечания: 33

Кристиан Болтянский (*фр.* Christian Boltanski, 1944–2021) — французский художник, скульптор, фотограф и кинорежиссер.

Ад — это соседи. Я вспоминаю, как молодожены Эскейтиа, мои друзья из Бильбао, едва лишь вселившись в свою первую квартиру, услышали за стеной какие-то странные звуки. В соседней квартире еженощно происходило некое таинство, которое можно было бы назвать «постоянное повторение непостижимого»: слышался жуткий смех, визг электропилы, воронье карканье и крики ужаса. И не успокоились даже после того, как узнали, что их соседи с применением примитивных спецэффектов той эпохи записывают для радио рассказы в жанре «хоррор». Соседи, хоть и находят всему объяснение, всегда внушают ужас.

[ГОВ~~НО~~РОСКОП 9]

Сегодняшнее предсказание Пегги Дэй сообщает, что «бремя вины, которую вы несете уже много лет, сегодня может создать вам проблемы».

Интересно, как все прочие Овны воспримут этот прогноз, который, боюсь утверждать, но сильно подозреваю, адресован мне? Не могу отделаться от мысли о том, что Пегги, без сомнения, получившая мой мейл, требует от меня извинений за мое скоропалительное исчезновение из С'Агаро, в конце лета.

До сих пор в толк не возьму, а ума не приложу, почему я так поступил тогда, в последний день августа. Может быть, захотел стать похожим на Неукротимого, парня из нашей шайки, вызывавшего у всех восхищение, который совершенно без объяснений бросил свою невесту в конце того же лета. Он в буквальном смысле удрал от нее, и причины столь резкого и неожиданного поступка так никто и не узнал. Да, полагаю, я повторил этот неожиданный шаг, показавшийся мне чрезвычайно мужественным, а потому и достойным подражания. И я не пошел на последнее свидание с Хуанитой Лопесбаньо и больше уже никогда не видел ее. Однажды, впрочем, мне показалось, что она стоит впереди меня в церкви в Модене, но вскоре выяснилось, что я обознался. Фигура спина и особенно зад, — была похожа, но каково же было мое разочарование, когда вместо мэрилин-монро-подобного лица Бомбы — как мы звали ее — я увидел перекривленную физиономию незнакомой дамы, явно страдавшей фригидностью.

Время от времени я вспоминаю свое бегство, столь же внезапное, сколь и бессмысленное, и понять его не могу. И, твердо зная, что никогда его не пойму, говорю себе, что это могло отлич-

нейшим образом знаменовать торжественное начало моих отношений с непостижимым. Я повел себя необъяснимым образом. Вот просто так, за здорово живешь, взял и бросил хорошую девушку.

Впрочем, я не виноват.

&

Мы приходим в этот мир, чтобы повторить поступки, в свое время повторенные нашими предшественниками. Есть, разумеется, технические различия, порой даже важные, но в главном, человеческом отношении мы одинаковы, с одинаковыми недостатками и проблемами. И, сами того не зная, подражаем тому, что некогда пытались сделать те, кто был до нас. Попытки в основном попытками и остались, свершений крайне мало, а какие есть — второразрядные. Принято считать, что каждые десять-пятнадцать лет происходит смена поколений, но стоит лишь повнимательней взглянуть на эти поколения, которые сперва кажутся такими разными, как мы видим, что каждое лишь тщится спешно и срочно подавить предшествующее, а если вдруг удастся, и то, которое предшествовало ему и в свое время пыталось уничтожить предшественника

собственного. Даже странно: ни одно поколение не желает оказаться на обочине Великого Пути, а только посреди него, ровно в том месте, которое занято поколением предшествующим. Они, наверное, думают, что за границами этого места нет ничего, и думы эти заставляют их подражать предшественникам, повторять авантюры тех, кого они начали презирать. И так уж ведется — ни одно поколение не сядет на бережку ли, на обочине ли и не скажет: нам это не надобно, останемся-ка лучше здесь. Приходят юноши, и вот, за одну ночь, таинственным образом, становятся стариками и умирают. Убегая от мира, погружаются в воду, тонут и топят свои воспоминания, мертвые с рождения. И нет исключений из этого правила: в этом отношении все подражают друг другу. Надгробье одной из могил на кладбище в Корнуолле украшает эпитафия: «Мы все умрем? Умрем мы все? Умрем все мы? Все умрем мы?».

10

Только если внушить себе, что мастерство Борхеса-новеллиста клонилось уже к упадку, и сам он к тому же был сильно нетрезв, притом что, насколько я знаю, он вообще не пил, можно поверить, что хотя бы эхо его голоса звучит из-за спины рассказчика в «Смехе в зале», в третьей главе «Вальтера и его мытарств», которую, как и все остальные, можно читать и как отдельное самостоятельное произведение. Хотя следует признать, что эту главу не так легко отсоединить от книги, потому что, в отличие от остальных глав, не столь прочно скрепленных с позвоночным столбом воспоминаний, «Смех в зале» содержит криминальную сцену, без которой совершенно невозможно обойтись, если мы хотим, чтобы туманная автобиография чревовещателя обрела хоть какой-нибудь смысл.

Если бы не цитата из Борхеса — «Я иду к своему центру, к моей алгебре и моему ключу, к моему зеркалу. Скоро узнаю, кто я такой» — едва ли я понял бы, что рассказ вдохновлен аргентинцем. Но эпиграф сообщил мне, что я отыщу в рассказе

Борхеса. Нельзя сказать, что его там много. На самом деле я вообще не думаю, что Борхес стоял за спиной рассказчика, однако в качестве некоторого оправдания скажу, что следы его были обнаружены в употреблении тонко спародированных драматических стереотипов, а также в том, что текст сгущает жизнь человеческую до одной сцены, определяющей его судьбу.

Это единственная сцена, где артист Вальтер приходит в свой центр, к важнейшей развилке своей жизни. И понимает, что пора бежать, бежать и скрываться. Рассказ о том, что произошло в каком-то лиссабонском театре, идет от лица самого чревовещателя, а это, если не ошибаюсь, происходит не всегда. Припоминаю, что вроде бы рассказ «Себе на уме», то есть четвертую главу, ведет не Вальтер: удостоверюсь в этом, когда дойду до этого места и перечту.

Так или иначе, в рассказе «Смех в зале» сам чревовещатель во всем своем блеске излагает в хрупких рамках своих воспоминаний краткую историю своего внезапного расставания со сценой. Неожиданный уход был для его последователей как гром среди ясного неба, однако мы чувствуем, что деяние это оправданно, ибо сам Вальтер намекает, что если бы, отыграв послед-

ний спектакль, остался в Лиссабоне, то, скорей всего, остаток жизни провел за решеткой.

Какое преступление мог он совершить? Мы догадываемся, что в ту же ночь в одном из закоулков Лиссабона что-то стряслось, однако до сих пор не обнаружен труп, не найдено тело парикмахера Брадобрея (кличка, под которой знал его Вальтер). Но обо всем, что касается этого преступления, пока еще не раскрытого лиссабонской полицией, Вальтер нам не рассказывает; мы должны сами домысливать то, на что он лишь слегка, вскользь намекает.

Используя настоящее время, чревовещатель рассказывает нам о том, как нелепо, достигнув, наконец, средоточия своей жизни, своей алгебры, собравшись сбежать на край света, чтобы там в конце концов понять свою суть и природу, он постепенно теряет свои роли в напряженной сцене, когда, импровизируя, с бесценной помощью куклы Самсона принимается увлеченно излагать жалостную историю своей любви к ассистентке Франческе.

Чрезвычайно запоминающаяся сцена, когда Вальтер на сцене плачет настоящими слезами по своей потерянной любви и выкладывает без утайки все, умалчивая лишь о том, что только

что убил парикмахера, любовника своей возлюбленной, а потому должен нынче же ночью покинуть город.

Весь рассказ проникнут необычайным стремлением сделать идею прощания донельзя театральной. Волнующее и жутковатое расставание с подмостками и вообще со всем — он знает, что по окончании спектакля бросится бежать как наскипидаренный — начинается с того, что он берет фальшивую ноту, дает, так сказать, петуха, когда начинает сообщать, что уходит, что покидает сцену.

Этот петух сродни тому, которого пустил перед своими учениками суровый учитель Гнус из «Голубого ангела»[34], человек, который начинает неостановимо скользить к гибели после того, как Лола-Лола, артистка из кабаре, обольщает его, преследуя единственную цель: растоптать его достоинство. Однако этим сходство и ограничивается, потому что во всем остальном Вальтер — полная противоположность немецкому учителю. Он представитель латинской расы и, пусть не впрямую, уснащает свой диалог с Самсоном прочувствованными намеками, позволяющими

[34] Примечания: 34

Фильм, снятый в 1930 году Дж. фон Штернбергом по мотивам новеллы Генриха Манна.

нам понять, что как это ни ужасно, он в самом деле совершил преступление и в этот самый вечер оставил в каком-то глухом лиссабонском переулке бездыханное тело парикмахера, отбившего у него Франческу.

Вальтер через несколько часов собирается убежать подальше, и не только из-за серьезных причин, но и потому, что утратил интерес ко всему на свете с тех пор, как Франческа, его красавица-ассистентка, изменила ему с Брадобреем. И настолько помутилось у него в голове от этой измены, что он решил: самое милое дело будет обсудить ее, сперва в костюмерной, а потом и на сцене — со своей куклой Самсоном.

Вальтер собирается рассказать, что называется, на публику, то есть на потребу своей преданной публике, неимоверно драматичную историю поруганной любви. И подспорьем ему послужит его наперсник Самсон, который на сцене, под неумолчный хохот зала начнет педантично поправлять хозяина и подталкивать его к тому, чтобы он хоть как-нибудь приблизился к истине, чего Вальтер не может сделать никак, если не хочет совершить самоубийственную ошибку.

Та значительная часть зрителей, до отказа заполнивших зал, которая до какой-то минуты не

вполне отчетливо сознавала, что происходит, наконец и внезапно понимает, что чревовещатель напрямую показывает им очень драматичный и невыдуманный эпизод своей жизни, эпизод, происходящий одновременно с тем, как его представляют, и присоединяется к понимающей половине, после чего весь театр рушится в пропасть смеха и скорби, то чередующихся, то переплетающихся.

— Твое безумие, — с подчеркнутой театральностью напоминает Самсон, — началось, когда ты был ласков и нежен с Франческой, когда говорил с ней моим голосом — ты слышишь? — моим, а не своим собственным. Потому что когда ты говорил от себя самого, то делал это на выдуманном языке, причем агрессивно и жестоко.

— Чего-о? Агрессивно? Я? — переспрашивает чревовещатель с таким негодованием, что публика не в силах удержаться от смеха.

— Франческа страдала, чувствуя, как я мягок с ней и как ты с ней груб. Отношения портились еще и от того, что ты постоянно бранил ее за то, что она не наводит порядок в гримерке, не следит за твоими костюмами и за ящиками, где ты хранишь своих марионеток, где ты держишь нас всех.

— Это не совсем так, Самсон, и вообще прекрати: ты пугаешь публику…

— И еще ты обвинил ее в своем упадке, а это было так несправедливо, и переполнило чашу ее терпения. Она устала от тебя, Вальтер, она очень устала и ушла к другому. Ты потерял ее, и я нисколько не удивляюсь этому: ты допек ее своей грубостью и своим безумием: ты ведь говорил ей, что мы, куклы, плохо спим, потому что она не заботится о нас как должно.

— Франческа вовсе не бросила меня и никуда она не ушла, — начинает было с отчаянным жаром возражать Вальтер. — Я ее прогнал, уволил я ее, потому что она не выполняла свои обязанности ассистентки. И она сама поняла, что лучше ей уйти, уйти, уйти! — выкрикивает он все громче. — И вот наконец исчезла в стекловолоконном сумраке гримерки…

— В твоей гримерке никогда не было никакого стекловолокна и сумрака тоже, — поправляет его Самсон.

Смех в зале.

Тогда в отчаянной и безумной попытке сделать так, чтобы этот смех сменился плачем, Вальтер произносит две строчки той самой песенки, что два часа назад спел Франческе и Брадобрею,

накрыв их в самый разгар представления в каком-то кабаре на юге Лиссабона и узнав, что они собираются пожениться: «В жены не бери ее, // // Она другим целована. // Целовал ее другой, // Влюблена в него она[35]».

Спев этот стишок неловко и явным образом нервозно, Вальтер вновь пускает петуха, встреченного дружным хохотом всего зала. Впрочем, эту фальшивую ноту трудно и назвать нотой: скорее это вопль — отчаянный и оттого особенно комичный, тоскливый и вполне безумный, отчего часть зрителей снова покатывается со смеху.

Вскоре после этого Вальтер, вероятно, взбешенный таким бесчувствием своих поклонников, решает оставить экивоки и от лица Самсона и своего собственного распрощаться с «почтеннейшей публикой».

Самсон, однако, бунтует и в последний момент, перед тем как вместе со своим хозяином уйти со сцены за кулисы, добавляет несколько слов:

— Очевидная тяга к убийству, — говорит он так, словно выдает своего хозяина и властелина.

Уже скрывшись со сцены, Вальтер на миг чувствует, что где-то под складками его хламиды,

---

[35] Примечания: 35

Строчки из песни «Малагенья Маргаритенья» венесуэльской певицы Делии Дорта.

за подвязкой на щиколотке, спрятан маленький кинжал, до недавнего времени скрытый в наконечнике зонтика. Но его успокаивает мысль о том, что никому в публике, сколь бы живым воображением ни были наделены зрители в партере, в голову не придет заподозрить, что на клинке этого кинжала еще сохранились остатки смертоносного цианида.

11

Я замечаю, что происшествия, которые случаются со мной в последнее время, по моему скромному суждению, гораздо лучше облекаются в форму рассказа, нежели раньше, когда я не вел дневник, а был погружен в монотонную трясину реальности, а если точнее, барахтался в однообразной пучине строительного бизнеса, в серой будничной рутине дней, неотличимых друг от друга.

Вот сегодня, к примеру, произошло такое, что, без сомнения, будет отмечено в моем дневнике. Это никак не связано с темой повторения и потому, быть может, мне и понравилось, ибо позволило мне отстраниться от этого назойливого вопроса и на несколько мгновений высунуться наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, хотя, согласимся, в самом процессе дыхания заключена идея повторения.

Произошло же это у киоска, где сияла изобильной красой хорошенькая киоскерша, у которой я каждый день покупаю газеты. Все шло своим, вечно желанным мне чередом, но вдруг я с удив-

лением заметил, что прямо ко мне, протягивая руку, направляется некий субъект с квадратным, будто выписанным кистью кубиста, лицом — так подумалось мне в тот миг — и с разноцветной кожей на руках, что было уродливо донельзя.

Я поймал себя на том, что слегка или не слегка, замялся перед тем, как протянуть руку этому татуированному чудовищу, однако делать было нечего: не подать ему руки значило бы осложнить ситуацию.

— Как я рад, что могу наконец приветствовать вас, — сказал этот квадратный прохожий. — Тем паче что вчера видел вас по телевизору.

Насколько мне известно, я сроду не выступал по телевидению, ну ни разу в жизни не бывало такого, а потому подумал, что этот татуированный господин либо ошибся, либо просто сумасшедший.

— Прекрасно выглядели, — продолжал он. — И я был горд, что мы с вами как-никак однокашники: вместе учились у иезуитов. Меня зовут Болюда.

Эта фамилия сначала сбила меня с толку, потому что я уж лет сорок разыскивая человека, который носит ее, а в колледже он был моим другом. Однако тут же сообразил, что трудно, если не

невозможно, этому субъекту при такой, рискну сказать, конфигурации оказаться тем, кого я ищу, хотя в нашем колледже было много Болюд, он мог оказаться его родным или двоюродным братом.

Кубический прохожий начал сыпать именами самых знаменитых наших священников и преподавателей, из чего я смог заключить, что он в самом деле учился со мной и что единственная его ошибка — простительная, впрочем, в том, что якобы видел меня по телевизору.

А дело-то все в том, что меня стала радовать наша встреча, ибо я увидел — и такая возможность выпадает мне нечасто — что истинная сила чувств, испытанных в былые времена, резко отличались от чувств нынешних.

Помню ли я падре Корраля? Вопрос Болюды заставил меня предаться воспоминаниям о нашем непонятом учителе, читавшем нам на уроках средневековые стихи. А когда вскоре возникло имя падре Гевары, я тотчас увязал его с тем священником, который нещадно тиранил детей и однажды на туманном рассвете покончил с собой, бросившись на школьный двор с крыши мрачного здания… Вдосталь можно было бы потолковать об этом загадочном происшествии, но Болюда предпочел поскорей перевернуть страницу и

довольно нервно потревожить тень всегда загорелого и такого требовательного преподавателя гимнастики падре Бенитеса, самого человечного из всех педагогов и единственного, кто до прихода в колледж был неутомимым волокитой.

Разумеется, помню. В ходе разговора я оживлялся все больше, но Болюда, не разделявший мое настроение, вскоре сообщил мне печальное известие: падре Бенитес на занятиях неизменно высмеивал его, дразнил и уверял, что тот будто сошел с полотна Мурильо.

Что было довольно странно, сказал я себе, потому что невозможно себе представить, будто у Болюды были хоть когда-нибудь столь тонкие черты лица, чтобы можно было уподобить его ангелочку, писанному Мурильо…

Что-то пошло не так, и с каждой минутой все хуже, когда я выяснил, что кубический прохожий учился на пять лет позже, и я не видел его никогда в жизни, потому что в колледже не обращал внимания на мелкоту из младших классов.

Я вознегодовал: сначала про себя. Сказал бы он раньше, я бы не стал тратить на него время. Я стал сердиться, потом злиться, потом яриться, и наконец, не сумев сдержаться, ибо все, что имеет отношение к священным для меня воспомина-

ниям о школе, принимаю очень близко к сердцу, обрушил на него град упреков за то, что оказался настолько двуличным, что сумел создать ложное впечатление, будто мы учились в одном классе. Как смел он заставить меня потерять столько времени на такого урода?! Такого — кого? — спросил он недоверчиво. Такого жирного и мерзкого урода, сказал я. Он невозмутимо осведомился, не воображаю ли я, что сам по сей день остаюсь худеньким — он так и сказал: «худеньким» — и неужели я думаю, что окружающим незаметно, что у меня отсутствует половина мозга?

Половина мозга? Неужели его так задело определение «урод»? Да, половина мозга, сказал он, это и вчера по телевизору было видно, когда я возвестил выход из кризиса.

— Какой телевизор? Какой кризис? И какой именно вы Болюда? — почел себя обязанным уточнить я.

Невозмутимо и упорно он поинтересовался, не от сидения ли в телевизоре я так раздулся. Ибо ему кажется, видите ли, что и у него есть право вплетать ложь в свои речи, а потому он, к примеру, сказал, что я тучен, хотя это не соответствует действительности, хотя и счесть меня тощим тоже значило бы погрешить против истины.

— И неужели же, — почти выкрикнул он, — только у вас, барчуков, есть право лгать?

Барчуков?!

Это что же — классовая борьба докатилась до квартала Койот?

— Падре Корраля, — сказал я ему, — мы называли «Петушок», вот так, просто и без затей: Петушок. Помните?

Он был настолько вне себя, так разозлен, что резко рванул с места и большими юношескими шагами пошел прочь, оставив меня, запнувшегося на полуслове, меня, ошарашенного и потерявшего дар речи, меня, отторгнутого от киоска и от самой жизни.

— Петушок! — громко крикнул я ему вслед исключительно ради того, чтобы убедиться, что мне все же удалось унизить его, уязвить и оскорбить.

Но он уже завернул за угол и оставил в воздухе нечто вроде следа — отпечатка геометрической фигуры, кубистических, я мог поклясться, очертаний.

[ГОВНОРОСКОП 11]

«Есть все условия для того, чтобы создать благоприятную атмосферу в доме и в семье, с которой наладится взаимопонимание».

Этой фразой Пегги Дэй хочет сказать мне: «Мак, обрати свой взор к домашнему очагу, к милым сердцу пенатам, а меня оставь в покое».

Долбаный гороскоп!

&

В книжной лавке «Субита», верней сказать, в том кошмаре, из которого я только что вышел, я обнаружил, что Пегги Дэй опубликовала дневник на семь тысяч страниц: философемы, описания дня, проведенного на лоне природы, беглые впечатления, портреты реальных людей, милые подробности жизни в кругу семьи, наблюдения над уличной жизнью, озабоченность состоянием здоровья, растущая тревога за будущность, душераздирающие впечатления от бессонницы, праздное умствование, разнообразные воспоминания, причем ни в одном из них мне места не нашлось, путевые заметки, афоризмы, даже разбор бейсбольных матчей (последнее, надо полагать, и шарахнуло меня с такой силой, что я проснулся).

12

«Смех в зале» я могу читать снова и снова, и он не приедается мне, потому, должно быть, что за исключением «укачивающих моментов» — в этом рассказе они особенно невыносимы — призывает нас принять важнейшее в жизни решение, а именно, свалить, что называется, с концами.

Подобный вид побега неизменно обладает обольстительной силой, и мы не желаем отказываться от него, хотя в самый момент истины неизменно отшатываемся и выбираем спокойное однообразие города, где живем всю жизнь. Но если все же она, жизнь эта, не вовсе лишена радости, это объясняется тем, что мы знаем: возможность все бросить, пусть даже с опозданием, и уйти еще не потеряна.

Это не противоречит тому, что я предпочитаю прощания совсем иные менее громкие. Случилось мне как-то прочесть о традиции ухода «sans adieu» (не прощаясь), что в разговорном испанском XVIII века приняло форму фразы «уйти по-французски», которая до сих пор произносит-

ся с осуждением и упреком по адресу тех, кто покидает родные места не простившись ни с кем, не сказав ни слова; кажется, что такой уход есть деяние предосудительное, а между тем уйти с какого-нибудь многолюдного сборища молча и незаметно считается чем-то гораздо более изысканным и свидетельствующим о хорошем воспитании, нежели поступить наоборот, и потому, наверное, я до сих пор помню, как однажды, выпив больше, чем следовало, нелепейшим образом прощался со всеми присутствующими, тогда как подобало бы удалиться скромно и незаметно, а не красоваться в столь бедственном состоянии.

Манера уходить «sans adieu» оставалась в моде среди представителей французского высшего общества на протяжении всего XVIII века и превратилась в обычай покидать, не прощаясь, салон, где имел место званый вечер, уходить, даже не поблагодарив хозяев. И обычай этот ценился столь высоко, что, если кто-то отклонивался, это воспринималось как невоспитанность и дурной тон. Когда гость начинал выказывать все признаки нетерпения, давая понять, что ему не остается ничего другого, как уйти, все считали, что это в порядке вещей, а вот на того, кто уходил, простившись, смотрели косо.

И незаметный уход со сцены представляется мне верхом элегантности. Как, например, поступил в Лиссабоне Вальтер. Ибо удалиться, не применив всем известной формулы, не значит ничего иного, чем проявление величайшего удовольствия от общества, в которое мы попали и куда намереваемся попадать впредь. Иными словами, мы уходим молча, потому что прощальные слова станут выражением разочарования и заявлением о разрыве. И это соображение неминуемо приводит меня к мысли о том, как резко и внезапно исчез я из жизни Хуаниты Лопесбаньо. Я сделал неверный ход. Но что толку сейчас, по прошествии сорока лет после моего ухода, твердить, что я не простился с нею оттого лишь, что не хотел, чтобы она усмотрела в этом прощании признаки досады, приметы разрыва. Никакого толку. Более того, боюсь, она бы мне и не поверила. Да и как же ей было поверить, если не верю я и сам, я, отлично знающий, что в те времена понятия не имел о тонкостях ухода «sans adieu. Я ушел, сам не понимая почему, не в силах справиться со смутным побуждением и, может, повинуясь неодолимому стремлению уйти.

«Смех в зале» я перечитывал много раз, и мне не надоедало, потому что, помимо прочих досто-

инств, в этом рассказе был запечатлен Лиссабон. Меня завораживала та трагедийная атмосфера, которой Санчес сумел окутать историю о великом прощании Вальтера. И еще то, что этой атмосферой преступления и роковой предопределенности пропитан столь подходящий для этого такой город, как Лиссабон, о котором, помнится, один мой друг говорил, что надо увидеть его весь, охватить одним взглядом при первом свете зари — увидеть и заплакать. А другой мой друг говорил нечто совершенно противоположное: его надо увидеть в тот кратчайший, как скупая улыбка, промежуток времени, когда над Руа де Прата гаснет последний беглый отсвет солнца.

И со мной, и знаю, что с другими случалось такое: когда я впервые оказался в Лиссабоне, у меня возникло ощущение, что я жил там раньше — не знаю когда, да и быть такого не могло, но я бывал в этом городе вопреки тому, что никогда в нем прежде не бывал.

— Лиссабон — для того, чтобы в нем жить и умереть, — раздался чей-то голос.

И мне даже не надо выяснять, чей это был голос — того покойника, который обитает у меня в голове.

[ГОВНОРОСКОП 12]

Обычное предвечерье. После долгой прогулки по кварталу и его окрестностям, потому что сегодня я вышел далеко за разумные пределы квартала Койот, и утомившись, вернулся домой и по старой привычке мысленно раскурил трубку, что означало, по выражению моей матери, разжечь «свой мысленный камин», и стал думать о своем давнем намерении уйти когда-нибудь куда-нибудь очень далеко, а также о почти постоянном стремлении сделать так, чтобы этот дневник не превратился в роман.

Потом я, что называется, пропустил стаканчик-два и погрузился в размышления о том, следует ли мне сегодня запросить астрологический прогноз. И наконец решил, что все же взгляну, что написала Хуанита на своей проклятой странице. Но в эту самую минуту по электронной почте пришел ее ответ на мой давешний мейл. Нечего и говорить, что это было неожиданно. И передо мной предстал текст, я бы сказал, искрящийся задором, игривый и, если угодно, обескураживающе глумливый: «Погода — лучше не бывает. Все божественно. Тяжкое *far niente,* много хула-хупа. Временами — серфинг. Прощай, дурачок».

Я до известной степени могу это понять, но не до конца, к чему обманываться. Я был расстроен, мне стало досадно. Я бы тоже мог посмеяться, но письмецо застало меня врасплох и несколько перебравши.

Прежде чем рухнуть на кровать, я еще успел обратиться к Пегги и попросить ее, если не трудно, сообщить, что там ждет меня завтра. Обратился я вежливо, хотя, по правде говоря, был очень-очень зол, так что сильно опасаюсь, что…

(В отрубе).

&

Иногда я представляю, как уйду.

И превращаюсь тогда в странника, который движется по направлению к чему-то, напоминающему край света, субъекта в элегантном и чистом пиджаке, чьи карманы однако становятся все более и более бездонными, потому, наверное, что он прячет в них свое удостоверение бродяги.

Иногда этот странник думает о племяннике Санчеса: он никогда больше его не видел, но не забыл. И пришел к любопытным умозаключениям: ему кажется, что если бы его заставили выбирать между племянником и дядюшкой, то выбрал бы первого, поскольку тот еще ничего не

написал и, хотя с точки зрения морали не может считаться эталоном, однако очевидно, что из этих двоих проявить свой литературный гений способен именно племянник, потому что траектория его жизни, пусть никчемной до сей поры, может вывести его на высоты, именно потому, что он ничего еще не написал, тогда как Санчес, помимо известных удач, сумел собрать изрядную коллекцию просчетов и впечатляюще-ярких образцов тупоумия.

Зато этот племянник напоминает другого: персонажа книги Витгеншейна[36], где Томас Бернхард, следуя за третьим, описанным Дидро «племянником Рамо», рассуждает о том, что Пауль Витгенштейн мог бы стать более значительным философом, нежели его дядя, как раз потому, что не написал ни строчки о философии и, стало быть, не успел произнести даже знаменитой фразы: «Тому, кто не может говорить, лучше молчать».

— Но согласись, Мак, что племянник Санчеса — всего-навсего бродяга, — прозвучал у меня в голове некий голос, который как будто желал

---

[36] Примечания: 36

Людвиг Йозеф Йоган Витгенштейн (*нем.* Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889–1951) — австрийско-британский философ, один из величайших философов современности.

теперь обрести и толику здравого смысла.

13

Эпиграфом к четвертому рассказу под названием «Себе на уме» взята фраза из хемингуэевского «Праздника, который всегда с тобой»: «Она была очень хороша, ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если монеты можно чеканить из мягкой, освеженной дождем кожи»[37].

Насколько я помню, такое свежее девичье лицо я за всю жизнь видел лишь однажды и тоже в Париже, в Булонском лесу, где какая-то женщина, прежде чем раствориться в густом тумане, стоявшем в тот день, обернулась ровно настолько, чтобы показать — с предельной мимолетностью — свежее лицо несовершенной, но невероятной красоты.

Этот памятный мне образ, эта незнакомка, обернувшаяся за миг до того, как исчезнуть в плотной дымке, неизменно возникает передо мной, словно череда кинокадров на застрявшей в проекторе пленке, которая повторяет их снова и снова и не дает фильму продолжаться. Вспоми-

---

[37] Примечания: 37
Перевод В. Голышева.

ная эту сцену, воскрешая ее в памяти, я вижу, как она настойчиво повторяется, но не могу узнать, что было после того, как женщина скрылась в туманной пелене.

И каждый раз, потому ли, что со жгучим разочарованием сознаю, что увидеть развязку невозможно, потому ли, что вижу — мне не суждено будет пройти за грань этой череды кадров, во мне возникает неразрешимое трагическое недоумение: что же было потом? что сделала незнакомка, когда вступила в эту область вечного тумана?

Недавно, читая «Себе на уме», рассказ, в каждой строчке отмеченный стилем Хемингуэя, я одарил невидимую девушку из эпиграфа прекрасным лицом, на миг мелькнувшим передо мной в Булонском лесу. И правильно сделал, приняв эти меры, ибо таким образом наделил лицом невидимую девушку, таинственно присутствующую во всем этом четвертом рассказе. В отличие от трех предыдущих его ведет отнюдь не чревовещатель: там звучит голос незнакомца, предлагающего нам сюжет, который показался бы на первый взгляд не имеющим отношения к воспоминаниями Вальтера, если бы эта невидимая девушка, судя по многочисленным намекам, не была верным слепком с Франчески, столь сильно любимой

Вальтером.

«Себе на уме» — лишь по видимости банальная и непритязательная история о барселонских подростках, которые после идиотской ночной гулянки в семь утра отправляются к бабушке одного из них, чтобы выпросить у нее денег и продолжить веселье уже средь бела дня и вдвоем. Фоном, как некая подспудная, так и не выходящая на поверхность тема, идет спор героев о том, кто станет избранником красивой, ни разу не названной по имени девушки, постоянно присутствующей в воображении юнцов: и ее *отсутствие* становится почти осязаемым при том, повторяю, что внешне рассказ всего лишь воспроизводит пустяковый разговор ни о чем, который ведут герои, совершая свой несвоевременный визит.

Безымянный рассказчик, работая в технике Хемингуэя, известной как «теория айсберга», вкладывает все свое умение в герметический рассказ одной тайной истории — двое юнцов, влюбленных в одну девушку, о которой никогда не говорят, — и с таким мастерством использует искусство эллипсиса, что добивается успеха: делает заметным отсутствие этого второго рассказа, где должна бы фигурировать она, оспариваемая

героиня. История написана так, словно читатель уже знает, что два ошалевших подростка всю ночь боролись за нее, за эту девушку, у которой, если верить эпиграфу, нежная кожа словно освежена дождем. Все разговоры, которые ведут соперники, суть не более чем треп, пустая болтовня за единственным исключением: когда бабушка одного из героев осведомляется, почему его спутник так немыслимо застенчив и робок, внук по имени Хуан уверяет ее, что это вовсе не так и, выдумывая на ходу, описывает их путь и объясняет, что его друг Луис вовсе не так уж робок, а просто обдумывает рассказ о любви и смерти, который он писал, и который у него только что украли.

Бабушка осведомляется, где же дело было.

— В дансинге, — торопливо и с запинкой отвечает Луис.

— На самом деле, — добавляет Хуан, — это не совсем любовная история, а скорей воспоминания одного чревовещателя, которые можно читать и как роман, и как книгу рассказов.

— На самом деле, — говорит Луис, — это полупотаенные мемуары чревовещателя.

Бабушка интересуется, отчего это они такие. «Оттого, что о многом умалчивают», спешит

объяснить Луис. А Хуан добавляет: «Чревовещатель — один из тех, кто вечно думает, как бы все бросить и удрать, однако в своих мемуарах он не открывает истинную причину своего бегства».

Бабушка пожелала узнать эту истинную причину.

Причина была в том, сказал Луис, что перед тем, как покинуть Лиссабон, он пришил парня, который отбил у него невесту.

— Пришил? — переспрашивает бабушка.

— Ну, сперва измордовал, — поясняет Луис.

Повисает молчание.

— Да, — говорит Луис. — Избил и зарезал. Теперь понимаешь, бабушка? Заколол кинжалом, спрятанным в наконечнике зонта, но, разумеется, он не станет писать об этом в мемуарах, а расскажет что-то другое: полагаю, чтобы скрыть случившееся.

Этот фрагмент из «Себе на уме» демонстрирует, как построена вся книга о Вальтере и его мытарствах, книга, куда составной частью входит этот четвертый рассказ. Так что весьма вероятно, что Санчес использовал это произведение безымянного автора, чтобы объяснить: весь роман, включая и этот рассказ, весь «Вальтер и его мытарства» зиждится на «теории айсберга». Потому

что книга Санчеса полна важных и значимых событий, однако тайная и ключевая история — сцена преступления — ощущается подспудно, но так и не проявляется: мы можем это понять, если станем на место Вальтера, который, сознавшись в своем преступлении, сильно пострадал бы от своего решения.

И если я когда-нибудь решусь написать ремейк романа, то, разумеется, прежде всего мне надо будет встать на место Вальтера. И, быть может, оказавшись в шкуре чревовещателя, я сумею превратиться в человека усердного — мне это будет нетрудно, я ведь, в сущности, такой и есть — и способного оставить воспоминания, где умолчу о том, как убил парикмахера, но сделаю прозрачный намек, достаточный, чтобы мы поняли, что это моих рук дело, и именно по этой причине я взял в них ноги и бежал из Лиссабона.

Но ради того, чтобы полноценно и искренне сжиться с так называемой «эмоциональной бурей», которую вполне сможет вызвать в городе совершенное преступление и поспешный уход со сцены, я, наверное, должен буду найти способ отождествить себя с бедным, затерянным где-то в мире Вальтером. Пока что мне в голову пришел только один способ или метод, при-

мененный некогда знаменитым «живописцем света» Уильямом Тёрнером, как известно, во время ужасающего шторма приказавшим привязать себя к мачте в надежде, что это поможет ему точнее оценить темперамент стихии.

[ГОВНОРОСКОП 13]

В почте я обнаружил ответ Пегги Дэй на мою просьбу предсказать, что случится со мной сегодня: «Все круто. Фар ниенте и хула-хуп. Временами — серфинг под свежим ветром, мой маленький шпагоглотатель».

Я заметил, что на этот раз она убрала обидное «дурачок», однако язвительности не убавила. Что касается «свежего ветра», то я расценил это как приказ сделать налево кругом и удалиться со всей возможной скоростью. Она пишет: «Все круто. Фар ниенте и хула-хуп», что свидетельствует о ее тяге к повторениям, но не к тем, которые привлекают меня, а к тем, которые лишены воображения и заводят в глухие тупики.

На самом деле, если дать себе труд понаблюдать за ежедневной деятельностью Пегги, за ее гороскопическими суждениями, можно заметить, что в ней происходит то же самое, что и в присланных ею мейлах, которые, по сути дела, завели ее

в тупик. И Пегги использует для своих гороскопов очень ограниченный набор слов — мечта, проблемы, счастье, семья, деньги и т.д. — причем запас их сочетаний быстро исчерпывается. Это ведь тот самый тип поэтики повторений, нимало не интересующий меня, поскольку это путь тупиковый, путь безжизненный, иссохший, разбитый на веки веков.

Но и то хорошо, что моя неудача в исследовании феномена Пегги сослужит добрую службу мне как начинающему: в ней содержится урок, который пригодится мне в дальнейшем. Известно ведь, что на ошибках учатся. Я установил, в частности, что предсказания Пегги возникают параллельно с моими попытками писать и соотносятся с ними или, иными словами, с подступами к теме повторения. А установил потому, что две эти половинки, гороскопы и мои первые литературные опыты, должны были в скором времени совпасть и слиться, чего, однако, не произошло. Гороскопы превратились в тупиковую ветку, в пересохший источник, и к этому теперь мне предстояло как-то приноравливаться и жить дальше. Очевидно, что, используя две эти истории, я пытался сконструировать нечто такое, чего раньше не находил, потому, наверное, что еще

не знал, как это выразить. Ибо сам метод неплох, его использовали писатели во всем мире: они сочетали такие явления, у которых на первый взгляд не было ничего общего, и верили, что это позволит им прикоснуться к тому, что находится в мире *невыразимого*. Это нечто такое, что хорошо действует в психоанализе, но здесь, в своем дневнике, я этого сделать не сумел. А может, и сделал, только еще не успел осознать до конца. Как бы то ни было, теперь я знаю, что торить две разные дороги и пытаться сопрягать проблемы, на первый взгляд, не имеющие ни единой точки соприкосновения, не всегда приводит к благоприятному результату.

14

В то утро я собирался просмотреть «Старых супругов», пятый рассказ книги, но, слушая «Trouble in mind» в исполнении Биг Билла Брунзи, забыл о своем намерении и принялся вспоминать, что Борхес неизменно считал, что роман — это не повествование. И говорил, что роман слишком далеко отлетел от изустного творчества, а потому и утратил непосредственное присутствие собеседника, присутствие того, кто всегда способен передать умолчание и нечто подразумеваемое, то есть добиться лаконичности, в равной мере присущей «шорт-стори» и устному рассказу. Надобно помнить, говорит Борхес, что пусть даже присутствие слушателя, внимающего рассказчику, и можно счесть неким странным архаизмом, но рассказ отчасти и выжил благодаря этой, с позволения сказать, рухляди благодаря тому, что была сохранена эта фигура слушателя, эта тень минувшего.

Хоть я и не знаю, зачем думаю обо всем этом, но дневник ведь и предназначен продлевать существование того, о чем мы в один прекрасный

день думали, чтобы в другой прекрасный день, вернувшись к словам, сказанным в то утро, мы обнаружили: мысль, походя занесенная в дневник, неожиданно превращается в ту единственную скалу, за которую мы можем уцепиться.

[ОСКОП 14]

Вчера Го~~вно~~роскоп утратил свое полное имя и едва ли не смысл, потому что Пегги Дэй, его, мягко говоря, оскопила. И теперь он зовется Оскоп: частью — в знак траура по окончательной разлуке, а частью — как обычно-привычное и безмолвное празднование окончания дня. Оскоп, как и его предшественник Го~~вно~~роскоп, — это не более чем проза, сочиненная на закате дня. Даже если проку от нее немного, все же она обращает внимание на предсказания Пегги Дэй, и сейчас, когда я отринул всю ее астрологию (и уже далеко позади осталось смертное измерение ее убогих словесных комбинаций, то есть ее умирающего языка, который не дает ни малейшей возможности выжить, по крайней мере, в этом дневнике), Оскоп пребудет здесь, выполняя одну из тех функций, что были заданы изначально — добавить к гаснущему дню все, что отыщется для добавления.

Освободившись от Пегги и ее убогого словарного запаса, я отдыхаю, потягивая джин, и пребываю в полном спокойствии: не встаю со своего красного кресла, на котором прежде работал как инженер-строитель, а теперь — как мыслитель, что, согласитесь, не в пример забавнее.

15

Ночью, когда я предавался разнообразным размышлениям и был, уж не зная почему, захвачен и воодушевлен ими, в полуоткрытое окно моего кабинета влетел аргентинский попугай.

Ткнувшись несколько раз в потолок, зеленая белогрудая птичка наконец упала на дно узкого проема — даже странно, как она туда пролезла — глубиной метра два с половиной, находящегося на вершине угла, который образуют два главных книжных стеллажа в моем кабинете. Эта щель сильно занимает меня теперь, потому что не будь этого ночного происшествия, я бы и не подозревал о ее существовании: чтобы увидеть ее, надо подняться на лесенку, а я за столько лет, прожитых в этом доме, ни разу не удосужился сделать это. Ни к чему мне это было, ничего наверху не было для меня интересного.

Зато Кармен, не поверив мне, сама взгромоздилась на лесенку и перепугалась до смерти, когда в самом деле увидела попугая на дне этой узкой норы, которую прежде и не замечала. Я понял, что если не разобрать оба дубовых стеллажа, то

с учетом глубины этой щели и ввиду невозможности доступа ко дну, попугая не извлечь, и он в этом темном колодце, доселе невидимом и так неожиданно обнаружившемся в нашем доме, останется навсегда: сколько-то дней птичка будет верещать, а я — писать, не видя, но зато слыша его, а потом… ну, ясно, что потом — бедная божья тварь умрет, и останки его будут разлагаться, быстро распространяя смрад по всему дому, плодя червей, которые расползутся по книгам, заберутся под обложки и в конце концов сожрут их изнутри, смолотят всю мировую литературу.

Не представлялось возможным достать попугая с двухметровой глубины через узкую теснину, однако что-то ведь надо было делать.

— Надо что-то делать, — сказала Кармен. — Его надо извлечь оттуда.

Меж тем попугайские крики вдохновляли меня. Но я не мог признаться в этом жене, не осложняя ситуацию. Да, они помогали мне писать, особенно в те минуты, когда попугай через полуоткрытое окно сносился со своими сородичами — с целым семейством, по всему судя, поджидавшим его снаружи. И я писал в этом подвижном пространстве, заполненном отчаянными звуками, которые со дна щели неслись на улицу, а потом

возвращались оттуда целым хором попугайских голосов, летевших из листвы деревьев и, казалось, вопрошавших моего невольного спутника о его местонахождении — откуда, мол, он делится своей тоской и тревогой. Самое скверное же, что я ничего не мог рассказать жене, потому что в этом случае она сочла бы меня еще более полоумным, чем ей казалось раньше.

А дело было в том, что Кармен нервничала все сильней — еще сильней она занервничала бы, только, если бы я ей сказал, что черпаю вдохновение в попугайских криках и они позволяют мне совершенствовать мое писательское мастерство — а я от этого, кажется, впал в своего рода ступор. После стольких лет брака я не знал, что она испытывает настоящий ужас перед любыми птицами. И наконец, после безуспешного вызова полиции (они вошли в дом, но ничего не сумели сделать и расписались в своем бессилии решить такую, по их словам, заковыристую проблему), мы обратились к пожарным, а те в свою очередь — к муниципальной службе защиты животных (бесплатной, кстати), и вот наконец юный защитник летающих птиц — после томительного десятичасового ожидания и нескольких минут его тяжких усилий, ибо, как и предполагалось, спасение

оказалось более чем трудным — вооружился двухметровой веревкой и корзинкой-ловушкой и приступил к извлечению попугая со дна. И, явив бесконечное терпение в соединении с исключительной, виртуозной изобретательностью, поднял птицу наверх. Затем, надев перчатки для сбережения пальцев, поместил ее на самый верх стеллажей, чтобы она вылетела в окно и вернулась к жизни пернатых и летучих. Попугай же, обретя свободу, все же несколько секунд словно бы сомневался, а надо ли.

Звучит, конечно, глупо, хотя и любопытно, и уж, во всяком случае — смешно для того, кто эту историю услышит, однако я взорвусь, если не скажу сейчас, не объявлю раз и навсегда: я очень скучаю по бедному попугаю.

16

Рассказ «Старые супруги» с его рваным ритмом — это обмен ударами или, точнее, монологами двух обманутых мужей, Бареси и Пирелли, которые только что познакомились и теперь, не слишком устойчиво восседая на барных табуретах, рассказывают свои (почти симметричные) истории о несчастной любви.

Действие происходит на рассвете, у стойки бара в одном из отелей Базеля, где двое бедолаг пьют без передышки, оттого и покачиваются на табуретах, и делятся своими злосчастьями. Рассказ начинается с монолога Бареси: монолог этот мне очень понравился, и я из него даже смог кое-что почерпнуть.

«Вы меня подтолкнули к погружению в непомерное количество спиртного, ну то есть не вы, а ваше признание, что, мол, любите слушать чужие истории, подстрекнуло меня к пьянству (это он говорит элегантному итальянцу, случайно оказавшемуся рядом в баре отеля), и теперь вот я точно напился и слегка разгорячился ну, или, опять же, точнее — меня потянуло помечтать и

рассказать вам историю, которую, если помните, я обещал не так давно и еще добавил, что в последнее время чувствую какую-то тягу делиться разными случаями из жизни, и, описывая случаи эти, я, чтобы не повторяться и чтобы самому не надоело, иногда кое-что слегка меняю, сеньор Пирелли, позвольте уж мне вас так называть, хоть здесь все обращаются к вам запросто, безо всякого «сеньор», а ведь никто, кроме вас, не носит здесь монокль, и можете не называть свою настоящую фамилию, она мне ни к чему, и я всего лишь желаю поведать, что же приключилось у меня с одной вашей соотечественницей, может быть, вам интересно будет послушать, сеньор Пирелли».

Вскоре мы узнаем, что Бареси потерял свою жену-итальянку, когда узнал, что она в духовном смысле принадлежит другому мужчине. И что Пирелли, в свою очередь, обнаружил на острове Ява, на двадцатом году счастливого брака, что его жена до сих пор не забыла свою первую любовь: юношу, покончившего с собой.

Бареси и Пирелли рассказывают друг другу свои почти одинаковые истории о любовных неудачах, и можно заметить, что если первый уснащает свою множеством выдуманных по-

дробностей, то второй — напротив, старается неукоснительно излагать факты, ничего не приукрашивая, то есть строго придерживаться истины, как бы мучительна они ни была, или того, что он принимает за истину.

Благодаря этому два итальянца, выбитых из колеи любовью и бегом времени, и одиночеством, к которому неизбежно ведет нас жизнь, становятся чем-то бóльшим, чем два брошенных, лишившихся душевного покоя мужа, тем более что один из них, Бареси, вроде бы воплощает в себе мир сочинителей — писателей, уверенных, что пересказывать историю подлинную, происходившую в действительности, — это оскорбление искусству и истине, тогда как второй, Пирелли, кажется представителем тех, кто считает, будто действительность, которая должна быть точно воспроизведена, не следует брать в кавычки, тем более что она одна.

Вымысел и действительность — два старых супруга.

В конце рассказа есть сцена, прочитав которую в других, нормальных обстоятельствах, я бы поднял бровь и даже, быть может, отвернулся бы. Но теперь не сделал ни того, ни другого, потому что гармоничное соединение двух печальных собе-

седников у стойки базельского бара показалось мне безупречно прекрасным. И Бареси с Пирелли слились в единое человеческое существо, в котором вымысел и реальность перемешались так полно, что временами мерещилось: разъединить их — задача невыполнимая. В некотором смысле, преодолевая непреодолимые расстояния, можно сказать, что Бареси и Пирелли напоминали быка и тореро, когда на арене — если, конечно, великолепие «номера[38]» разворачивается в полном блеске — они сливаются в единое и неделимое существо, сочетающее в себе черты зверя и человека так, что совсем не просто различить, кто есть кто, отличить одного от другого. Мишель Лейрис[39] описал этот прекрасный и трагический эффект единения так: «Когда тореро, медленно помахивая плащом, добивается того, что ноги его остаются неподвижны во время серии выверенных и взаимосвязанных пассов, он образует с животным некую композицию, в которой человек, мулета и огромная остророгая туша кажутся соединены между собой игрой

[38] Примечания: 38

Термин тавромахии: номер — отдельный эпизод корриды.

[39] Примечания: 39

Мишель Лейрис (*фр.* Michel Leiris, 1901–1990) — французский этнолог, писатель и литературный критик.

взаимных влияний».

— А я, сеньор Пирелли, — слышим мы сквозь задавленные рыдания голос Бареси, — понял уже безо всякого промедления: что бы я ни предпринял, будет бесполезно, я все равно потеряю эту женщину, и еще понял, что она никогда не была моей, а принадлежала другому и вместе они становились четой старых супругов, чья близость уходит, можно сказать, в глубь времен, глубже первой ночи, когда реальность соединилась с вымыслом: старые супруги бьются с бесконечным кошмаром той же упорной тоски, которую испытывают шлюха и ее кот, теперь вы понимаете меня, сеньор Пирелли?

Пирелли понимает, но таинственно молчит. И лишь через несколько секунд он делает Борези предложение, которое под занавес их долгого разговора бросает на эту ночную встречу сомнительную тень:

— А теперь, сеньор чревовещатель, позвольте мне пригласить вас в мой номер этого отеля, потому что мне хочется, чтобы вы крепче уверовали в истинность моей истории и знали, что время от времени у меня за спиной возникает мертвец. И еще, чтобы вы не сомневались в том, что я в самом деле бывал на острове Ява, позвольте преподне-

сти вам кое-какие тамошние диковины: они у меня в номере, так что прошу вас подняться со мной туда, я хочу вручить вам кое-какие сувениры. Это зонтик, наконечник которого с помощью потайной пружины превращается в остро отточенный клинок, нечто вроде штыка, как знать, может быть, он когда-нибудь пригодится вам. И еще мне бы хотелось, чтобы мы с вами отринули все наши горести и прилегли рядышком: вам не кажется, что так у нас было бы больше времени обсудить вдвоем все, что происходит в мире?

Мы, впрочем, знаем, откуда смог вынырнуть зонтик с Явы, и это заставляет нас думать, что принявший подарок Барнези — тот самый человек, от которого получил его Вальтер.

Отдельного упоминания заслуживает неизбежный «момент укачивания», имеющийся во всех рассказах книги Санчеса, и «Старые супруги» — не исключение. Это свинцовоподобный «момент» наступает вскоре по окончании диалога двух собутыльников, и дальше рассказ внезапно обретает густоту, и тут уж за пять миль становится видно, что язык рассказа заплетается, как если бы жестокая мигрень, разом поразив обоих беседующих, ошеломила их и огорошила.

И все же, несмотря на эту зону качки-болтанки

и на растворимый аспирин, этот рассказ по своей атмосфере, по пронизывающей его метафизике супружеской тоски, должно быть, самый удачный из пяти первых в книге. «Смех в зале» более эмоционален, но «Старые супруги» кажется более завершенным. Главный его недостаток — это эпиграф из книги Раймонда Карвера «Собор», и звучит он так: «Я так повернул разговор, чтобы он упомянул имя своей жены. Олья, сказал он. Олья, повторил я про себя. Олья».

В чем, с позволения сказать, фишка с этим Карвером? Что делает Карвер в старом базельском отеле? И еще непонятно, зачем Санчес взял эпиграфом эту малозначащую фразу. Хотел, чтобы читатель прочел о свадьбе реальности и вымысла, как будто они тушились вместе в скороварке? Уверен, что это не так. Рассказ по стилю напоминает Карвера, но воссозданный там мир куда сложнее и утонченнее его приземленного мира. И, наконец, это у меня теперь голова как скороварка, и едва ли я способен буду продолжать сегодня. Должен признаться, спиртное отбивает у меня способность соображать. Я уж даже не знаю, Пирелли я или Борези.

Фоном слушаю Лу Рида.

Олья, повторяю я себе и буду повторять, пока

она не услышит. Кто «она»? Олья или Кармен? Почему она делает вид, будто не знает, что я веду дневник? Что же тогда, по ее мнению, я часами делаю здесь, в кабинете, то и дело начиная шарить в интернете? Она презирает мир литературы. Науки позволяют ей чувствовать свое превосходство, хотя действительность напоминает, что она реставрирует мебель. Но почему ради того, чтобы отличаться от меня, непременно надо презирать библиотеки? Откуда такая преувеличенная непереносимость печатного текста? Она ведь не позволяет держать в гостиной даже телефонный справочник.

Ладно, утро вечера мудренее. Проклятущий джин.

В голове у меня только воспоминания о неудачах. И эта болтанка, от которой она пухнет и одуревает.

17

В полдень я вышел прогуляться и к немалому своему удивлению встретил племянника Санчеса, который, хоть и сбрил бороду, выглядел еще более несчастным и запущенным, нежели при нашем знакомстве, и, судя по всему, еще не ложился, а на меня поглядел с таким видом, словно припоминал, откуда он знает этого хмыря?

Хотя в тот день я поглядывал на него, стараясь, чтобы это было незаметно, он, небось, все равно обратил на меня внимание, потому так и уставился на меня теперь. И ни одним мускулом не дрогнув, я спросил:

— Простите, не вы ли будете племянник Санчеса, верно?

— Буду. Нынче вечером, — ответил он.

И удалился стремительно, словно испарился, растаял за углом.

Сволочь такая.

&

Печального героя шестого рассказа под названием «Долгий обман» зовут Баси, и уже во втором

абзаце о нем сообщается, что «вся жизнь его была цветком запоздалым». Рассказ начинается в хорошем ритме, внятно и, так сказать, дееспособно, из чего следует, что автор, принимаясь за него, был совершенно трезв и, без сомнения, чурался «моментов качки и болтанки», заложником коих становился так часто.

«Однажды ночью его разбудил стук дождевых капель в оконные стекла, и Баси подумал о своей молодой жене в сырой земле могилы. Это было ново для него, он сколько лет уже не думал о жене, что думы эти привели его в ярость. Сейчас он представил себе разрытую могилу, струи воды, змейками ползущие по всем направлениям, и то, как его жена, с которой он сочетался браком при большой разнице в возрасте, лежит в земле, с каждой минутой все сильнее набухающей влагой. Ни единого цветочка не было над могилой, хотя он мог бы поклясться, что в свое время договорился о том, что за ней будут постоянно ухаживать».

Я начал перечитывать «Долгий обман» и вскоре понял, что на самом деле вовсе не перечитываю ее, нет, передо мной рассказ, на котором я тридцать лет назад остановился, а потом книжку эту бросил. А не продолжил чтение потому — помню

это как будто это было вчера, а не сто… столько лет назад — потому говорю, что в этот же день ознакомился со статьей Рикардо Рагу в газете «Эль Паис», в каковой статье утверждалось, что «Долгий обман» — почти полная копия рассказа Бернарда Маламуда[40]. Прочитав это, я уже не удивился, что эпиграфом к своему шестому рассказу Санчес взял слова Маламуда: «Совершенно безразлично, продолжается или прекратилось». И еще помню, что под воздействием то ли этой цитаты, то ли рецензии Рагу, я и решил не читать дальше.

Но зато сегодня продолжил.

Рассказ начинается с того, как старый Баси просыпается посреди ночи от шума дождя, бьющего в окна его дома, и задумывается о своей молодой жене, лежащей в сырой земле могилы. А наутро старик начинает искать ее и не находит. И признается директору кладбища, что супружество у них не заладилось и, что к тому времени, как он узнал о смерти жены, она уже давно ушла к другому. Через несколько дней директор звонит Баси и сообщает, что могилу, где была похоронена его жена, нашли, однако удостоверились, что

[40] Примечания: 40

Бернард Маламуд (*англ.* Bernard Malamud, 1914–1986) — американский писатель и педагог.

покойницы там нет: ее возлюбленный несколько лет назад добился судебного разрешения перенести прах в другую могилу, куда потом положили и его самого. Ах, вот как, думает Баси, значит, его жена будет обманывать его с другим вовеки веков. Но учтите, говорит ему директор, что вы остались в выигрыше — могила ваша никуда не делась, в будущем вы сможете воспользоваться ею: она свободна и полностью принадлежит вам.

Мне кажется, Санчес сознательно хотел придать «Долгому обману» вид главы, совершенно произвольно добавленной Вальтером к своим дневникам. Хотя, не исключено, что он включил ее исключительно по лени и ради того, чтобы увидеть, как его роман благодаря такому беспардонному плагиату мгновенно набирает объем. Не исключено также, что он присоединил ее к своей уклончивой автобиографии, будучи до такой степени потерян и пьян, что не отдавал себе отчет в серьезности столь предосудительного деяния. А может быть, это моя собственная и, на мой взгляд, самая приемлемая версия — добавил он ее без долгих дум, в буквальном смысле одним движением пера — за тем, чтобы почти незаметно, бочком, так сказать, вставить эпизод из жизни человека, приходящегося отцом герою

его автобиографии. Ибо мне кажется, злосчастные отношения Баси с женой напоминают те, от которых страдал Бареси и о которых мы знаем из рассказа «Два старых супруга». А потому возникает законный вопрос: может быть, имя «Баси» — это сокращенная версия «Бареси»? Может быть, «Бареси» — это истинное имя человека, взявшего себе сценический псевдоним «Вальтер»? Может быть, Бареси из Базеля — это отец нашего Вальтера? Если так, кое-что проясняется: мы, по крайней мере, узнаем, от кого унаследовал чревовещатель орудие убийства — зонтик с Явы.

В ушах у меня звучал эпиграф из Маламуда, и, хотя я не знал, из какого именно рассказа он взят, но не прошло и пяти секунд, как «Гугл» решил эту проблему: ответ содержится в книге интервью и эссе Филипа Рота, который, гостя у Маламуда в Беннингтоне, при этой последней в их жизни встрече задал ему опасный вопрос. За год до этого, летом, Маламуд перенес инсульт, бедственные последствия которого все еще давали себя знать, а покидать дом не давали. И потому Рот сел в Коннектикуте в машину и отправился навестить своего учителя в Беннингтон, где сразу же убедился, как ослабел и сдал Маламуд: если раньше тот в любую погоду неизменно выхо-

дил на улицу, чтобы встретить или проводить Филипа, то в этот день он в своем неизменном поплиновом пиджаке хоть и вышел из дому, но едва лишь приветственно и довольно угрюмо помахал гостю, как его тотчас слегка мотнуло в сторону, однако он устоял на ногах исключительно силой воли, а потом замер, словно опасаясь, что от малейшего движения рухнет наземь: «В этом дряхлом, насквозь больном старике и следа не осталось от прежнего крепыша».

Когда визит Рота уже подходил к концу, Маламуд решил прочесть начало романа, над которым работал, но написанное умещалось пока на четвертушке бумажного мятого листка. Рот безуспешно пытался отговорить его от чтения, но Маламуд настоял на своем и дрожащим голосом стал читать. По окончании повисло тягостное молчание. Рот, не зная, что сказать, спросил в конце концов, что там будет дальше.

— Не все ли равно, будет там что-нибудь или ничего не будет, — разъярился Маламуд.

Ученику, выслушавшему то, что учитель написал на измятом листке, стало очевидно, «что Маламуд, как бы ни хотелось верить в обратное, даже не приступал к роману; казалось, что его через темный узкий лаз ведут полюбоваться при

свете факела на первый рассказ Маламуда, так никогда и не написанный на стене пещеры».

Право, не знаю, какой смысл — ну, разве что стремление щегольнуть звонкой фразой — вкладывал Рот в столь дотошное описание того, в каком упадке пребывает ныне его учитель, прежде вызывавший у него такое восхищение. Иногда Рот мне очень неприятен. Зато Маламуд неизменно вызывает мои читательские симпатии. Он вырос среди страховых агентов, и, быть может, поэтому сам по виду принадлежал к этому сословию. В нем меня привлекает его упрямое кружение вокруг способности человека — вы не поверите! — меняться к лучшему. И еще то, как он создает разнообразное множество этих серепьких незаметных людей с наружностью страховых агентов, которые благодаря какому-то внутреннему содержанию пытаются дойти до самой сердцевины и — как в случае с тем угрюмым и печальным русским, главным героем моего любимого романа «Мастеровой» — превращаются в людей одержимых и непреклонных, пребывающих в постоянной борьбе за то, чтобы во всем идти дальше и дальше.

Для начинающего вроде меня упорный и однотонно-тусклый Маламуд может служить идеаль-

ной моделью того, как надо писать: писать без излишнего и чрезмерного желания куда-то стремиться, писать, избегая усилий «мастерового» в постоянной борьбе за возможность развития. Маламуд — отличный пример для меня, потому что его герои могут превзойти самих себя, но зато их создатель неизменно остается в области серых скал и одиноких каменных дубов и никогда не отдаляется от своих «скромных умений» в искусстве повествования.

Для начинающего вроде меня упорный и однотонно-тусклый Маламуд — истинное благословение. Потому что выбранный им цвет может означать, что у писателя отсутствует настоятельная потребность эволюционировать, каковая потребность почему-то столь высоко ценится ныне, хоть это и абсурдно. Разве те животные, что не эволюционируют — орел, например, — не в полной мере счастливы своим статусом? Весьма вероятно, что не будь у нас родителей, наставников, друзей, требующих, чтобы мы становились лучше, мы были бы гораздо счастливей. И потому мне кажется, что в этом дневнике я ограничусь лишь тем, что буду углубляться в материю, названную мной «скромным знанием», которую можно счесть предметом или, если угодно, дисци-

плиной, непременно приводящей к постижению материи литературной, где можно неспешно продвигаться вперед, однако сколь ни парадоксально — причем парадоксом это кажется и мне самому — «не слишком преуспеть на этом пути». А это «скромное знание» многим неведомое, потому что видеть его дано немногим, вырабатывает свою собственную защиту против продвижения вперед и подтверждает то, о чем столькие из нас подозревали спокон веку: излишнее процветание может стать самоубийственным.

«Я не эволюционирую, я странствую», — сказал Пессоа.

Эти слова почему-то заставили меня подумать, что иногда человека проще постичь и понять через то, что он презирает, а не через то, что ценит, и напомнили мне, что, кажется, это сказал Пилья[41], в литературе не существует понятия «прогресс», точно так же, как с течением времени человек не совершенствует свои мечтания и грезы: вероятно, то, чему он учится в процессе писания, он предпочел бы не делать; сомнений нет — мы движимы вперед силой отрицания.

Я размышлял об этом несколько минут, глядя

---

[41] Примечания: 41

Пилья, Рикардо Эмилио Ренси (1941–2017) — аргентинский писатель.

в окно и пытаясь воскресить в душе то удовольствие, которое испытывал при виде ярких рисунков иных художников — образов, толчком возникавших от происходящего; оттиски, возникающие из красоты серенького дня, тихо вступающего в свои права на улицах квартала Койот и одновременно из моего собственного мира начинающего художника: эти мысленные рисунки, столь близкие к тому, что происходит в реальности, очаровательные мысленные гравюры, невинные, к счастью, невинные потому, что их создатель все еще пребывает в самом начале всего сущего и не надеется пройти дальше, ибо ему достаточно спокойствия, даруемого принадлежностью к тем, «кто начинает», к счастливой череде событий, сужденных тому, кто делает первые шаги и странствует, стоя у окна, кто никогда не теряет из виду, что довольствуется успокоительной серостью своего «скромного знания».

Короче говоря: пусть вперед рвутся другие.

Или, как сказал бы Маламуд: наверное, больше проку было бы угнездиться в упорстве скромного, серенького ученичества, принять его как данность, как вечный понедельник в классе приготовишек. В конце концов нам ведь неизвестно, не лучше ли всего остального «намеренная недоста-

точность», что так сродни «скромному знанию». Хотя, если верить тому, каким предстает мир из моего кабинета, это самое все остальное все напористее заполняет жизнь. И это подтверждает мое подозрение в том, что процветать, вооружась застенчивостью Маламуда, — значит всего-навсего тайно совершенствовать мое обычное зрение, обострять его так, словно вдруг вооружаешься особыми увеличительными линзами и все, чему учился, что постигал и видел, будто заливается мощным потоком света, природу которого определить не берусь, потому, вероятно, что на самом деле это лишь неяркий свет того, что я узнаю.

18

Утром, идя по улицам квартала Койот под совсем не метафорически свинцовым солнцем, я столь настороженно и бдительно ожидал какого-нибудь происшествия, достойного описания, что не удивился бы, если бы кто-нибудь, наделенный тонким инстинктом, решил, что я ищу чего-то, пусть хоть самой малой малости: какого-нибудь подмигивания, способного сойти за тайный сигнал, или пылинки, в которой при известном воображении можно было бы увидеть весь мир, чего-нибудь, достойного упоминания в моем дневнике. И если бы существовал этот наблюдатель с тонким инстинктом, он сказал бы так:

— Вот вышел на охоту наш начинающий.

Я подумал о том, как много лет кряду, влача свои ежедневные ритуалы, хожу по этому кварталу. У меня установились привычки и обыкновения, ибо не знаю уж, как давно выбрал я себе жизнь провинциала, по доброй воле оказавшегося в большом городе. Из этого квартала происходит вся моя семья: от прабабушки-германофилки до моих семерых внуков, детей моих

сыновей Мигеля, Антонио и Рамиро, активистов двусмысленных политических партий, которым я иногда симпатизирую, ибо есть в сутках такой час, когда забывается, что идиотизм — вовсе не современное явление, не порок, свойственный исключительно нашему времени: он существовал всегда, и следует признать, изначально присущ роду человеческому.

И отсюда, от квартала Койот, я на протяжении всей жизни своей отходил недалеко, хоть меня и вели то там, то тут, ибо я много ездил по свету и как турист, и по делам своей строительной фирмы, которая требовала расширения и моего, стало быть, присутствия в отдаленных частях света. Но дело в том, что уже давно я рисую у себя в дневнике маршруты, неизменно приводящие меня к одним и тем же местам в квартале Койот. И это помогает, особенно если проявить упорство, точно так же, как помогает этому дневнику не превратиться в роман. Однако в то утро я, как это ни глупо, позабыл об этом и безотчетно отворил ворота событиям, которые могли бы перерасти в романные ситуации. Да, в ту минуту, когда я бдительно искал, не появится ли чего-либо заслуживающего быть изложенным на бумаге, снова прозвучал голос, голос покойника, поселившего-

ся у меня в мозгу, и прозвучал он только для того, чтобы предуведомить меня:

— Не надо тебе ничего искать. Думай, что хватит с тебя собственной и единственной жизни, она сама по себе увлекательнейшее из приключений.

— Что за банальщина! — сказал я ему в ответ.

И вскоре, как будто вследствие этого упрека, я начал испытывать неприятное ощущение обезвоженности. Надо было срочно найти какой-нибудь родник или ручей или как можно скорей зайти в бар. Мне стало почти дурно, и я подумал — в такие минуты какая только чушь не лезет в голову! — о том, сколь убога природа человека, который в определенные моменты все на свете отдаст за стакан воды. И мне на память пришли слова Борхеса — не поручусь, что в таком состоянии я вспомнил их целиком, но что-то все же вспомнил: «Человек, который научился благодарить за жалкие подачки повседневья: за сон, за привычку, за вкус воды».

Тут, уже значительно более озабоченный, чем несколько мгновений назад, я остановился перед газетным киоском, владелица которого как раз в эту минуту пила воду. Я хотел было вырвать у нее из рук бутылку, но сумел обуздать себя.

— Видите, что вытворяет это глобальное потепление? — спросила меня эта Венера Невыразимая (так зовут ее в нашем квартале, полагаю, что с долей иронии, потому что на воплощение женской красоты она не тянет), и я не сразу понял, имеет ли она в виду свою жажду или мой ужасающий вид: я положительно задыхался от зноя и был весь в поту. Когда понял, что она говорит только о себе, то захотел отомстить бедной Венере с бутылкой и припомнил кстати, что был у меня некогда приятель, которого дружно ненавидели все экологи, поскольку он специализировался на том, чтобы своими предприятиями вносить посильный вклад в парниковый эффект. От этого воспоминания я замолчал и хранил молчание до тех пор, пока наконец не сменил его на загадочную улыбку.

— Как считаете, завтра жара такая же будет? — спросила она.

Поборов желание ответить, что жар спадет, но лихорадка не уймется, я ответил:

— Безразлично, будет или не будет.

Я не стал дожидаться, что скажет мне на это Венера. Отошел от киоска, двинулся прочь, не попытавшись даже купить газетку, вошел в бар, утолил жажду, возблагодарил судьбу за эту скуд-

ную милостыню.

Через несколько минут я уже возвращался со своей экскурсии под удушающем зноем и был в двух шагах от порога моего дома, как вдруг мне показалось, что вдалеке появился Санчес: он входил в кондитерскую Карсона и был, само собой разумеется, бесконечно чужд тому безмерному пространству, которое вот уже две недели занимает в моем рассудке и он сам, и мемуары созданного им чревовещателя. И я тут же осознал, что привык по много часов в день думать о нем и о его романе, сочиненном уж лет тридцать как, но между тем не только почти ничего не знаю о нем самом, но и в реальности он для меня в полном смысле слова незнакомец. По крайней мере, последние две недели он ведет у меня в мозгу насыщенную, активную жизнь, но если бы я сказал ему об этом, он наверняка ничего бы не понял.

Вслед за тем подоспели и события. Или, может быть, это я сам поспел для них?

Я вдруг увидел вдали, а даль эта расплывалась и подрагивала в знойном мареве, увидел и, разумеется, страшно удивился, что в кондитерскую входит и Кармен. Разве она не на работе? Хотелось бы думать, что она, как уже бывало, ушла из своей мастерской на час раньше обычного.

Солнце давило все сильней, и ясно было, что эта струящаяся дымка искажает очертания фигуры, отчего я подумал, что раз уж не вполне уверенно опознал вдалеке Санчеса, то что уж говорить о Кармен, появившейся вскоре и будто преследовавшей его. Словом, я пребывал в сомнениях. Но вместо того, чтобы двинуться туда, где я их заметил, и прояснить дело, я, опасаясь, наверное, чрезмерного прояснения, перешагнул порог вестибюля, потом пересек самый вестибюль, вошел в лифт и только там, наконец, спросил себя, как мне следует воспринимать все это.

Быть может, это простое совпадение? Или у Кармен и Санчеса в самом деле роман, и передо мной история «долгого обмана», как гласит заглавие того скопированного у Маламуда рассказа, который я вчера прочел? Или я вообще не видел ни Санчеса, ни Кармен, и они примерещились мне в накатившей волне зноя?

Я вошел в квартиру, выпил стакан воды — очень холодной, просто ледяной. И спросил себя, надо ли отразить в дневнике это незамысловатое деяние. Ответ не замедлил. Непременно надо, если хочешь каким-нибудь образом по-прежнему чувствовать, что ведешь дневник, а не роман сочиняешь. И потом, не следует упускать из

виду, что жанр дневниковых записей он такой: для него все годится, любая незначительная подробность или мелочь; мелочи, кстати, особенно хорошо идут, равно как и мысли, сны, фантазии, краткие заметки, страхи, подозрения, признания, откровения, афоризмы, комментарии к прочитанному.

Потом я сел в свое любимое кресло и сказал себе: сохраняй благоразумие и, когда вернется Кармен, не бросайся к ней с вопросами и уж тем более, не обвиняй ее в таком зыбком и туманном деянии, как то, в котором намереваешься ее обвинить. Потом я возобновил чтение «Вальтера и его мытарств». Седьмая глава называлась «Кармен».

19

Поскольку вчера сильных чувств было многовато для одного дня, я решил отложить свой комментарий к «Кармен» на сегодня. Рассказу предпослан эпиграф из Петрония: «Я устал от того, что надобно в очередной раз выказывать скромность, подобно тому, как всю жизнь утомляет меня необходимость прибедняться, чтобы оказаться заодно с людьми, которые меня недооценивают или даже не подозревают о моем существовании».

Едва ли эти слова принадлежат Петронию, однако вчера я провел расследование и не нашел ничего, что опровергало бы его авторство. Так или иначе, сказанное Петронием или кем бы то ни было не очень связано с сюжетом «Кармен», и потому я думаю, что цитата нужна лишь, чтобы упомянуть Петрония и показать, пусть не впрямую, что «Кармен» относится к жанру «воображаемых жизней», созданному Марселем Швобом.

Среди прочих историй, которые французский писатель рассказывает в «Воображаемых жиз-

нях» (1896), есть и жизнеописание Петрония. Швоб мне очень нравится: и уже много лет. Он был первооткрывателем этого жанра, где вымысел перемешан с историческими событиями, и сильно повлиял на таких авторов, как Борхес, Боланьо или Пьер Мишон.

Случай «Кармен» интересен тем, что там есть вымысел, но полностью отсутствует подлинная история. Тем не менее реальные события, почерпнутые исключительно из жизни Кармен, предшествовавшей нашему с ней знакомству, перемешаны с вымышленными, обретающими убедительную достоверность исторических фактов. Иными словами, рассказ хорошо сделан и, если не считать «качки-болтанки», очень изящен по стилю, потому что в отличие от остальных в книге качка длится лишь несколько секунд и лишена тяжеловесности, зато вызывает легкую дурноту: «Джинсы у бедной Кармен были в бумажных комочках, потому что она вечно забывала платочки «Клинекс» в карманах джинсов».

Появление Кармен в рассказе показалось мне странным, а по сути дела — невероятным, однако пришлось поверить и принять, ибо в доказательство Санчес писал об очень юной Кармен: «Итак, перед нами уже не девочка, а барышня:

у нее анемичное широкое лицо, быть может, не вполне правильное, но тем не менее вполне привлекательное. Она высокого роста, с маленькой грудью, всегда ходит в темном свитере и обматывает бледную шейку шарфом…»

Сначала я решил убить его. Потому что, хоть в это невозможно поверить, но речь явно идет о Кармен, о моей жене, и что же мне еще оставалось сделать, если Санчес так спокойно пишет, к примеру, о «маленькой груди»? И как же могло получиться, что он написал о ней тридцать лет назад, а я этого не знал?

Потом, чтобы не рехнуться в ожидании Кармен, которая вернется и, быть может, все объяснит, я принялся анализировать место этого рассказа в структуре «Вальтера…» И сказал себе, что «Кармен» представляет собой совершенно самостоятельный текст, а вместе с тем — некий намек читателям на то, что и все воспоминания «Вальтера» — суть «воображаемая жизнь». И еще сказал себе, что рассказ этот был включен в книгу вне всякой связи с автобиографией чревовещателя, но спустя какое-то время органично и естественно стал ее составной частью и вполне может рассматриваться, ну, скажем, как воспоминание о первой любви Вальтера.

Разумеется, подумай я еще малость, я признал бы, что жизнь юной Кармен нельзя назвать такой уж «воображаемой», по крайней мере, для меня, знающего много из того, что о ней рассказывалось, ибо все эти эпизоды были непосредственно извлечены из ее реальной жизни до нашего знакомства. Вчера, читая это, я был сильно шокирован, однако сегодня, на свежую голову, сделал над собой — не отрицаю! — небольшое усилие и должен признать, что Санчес удачно придумал включить этот рассказ в контекст автобиографии чревовещателя, потому что, во-первых, две присутствующие там женщины — Франческа и первая любовь, девушка с широким анемичным лицом, в которой можно узнать Кармен — могут кое-что поведать о жизни Вальтера, а во-вторых, потому, что мимоходом впускают в повествование великого Петрония.

И самое замечательное, что он вступает в игру. Есть в нем нечто такое, к чему влекло меня с детства. Сначала и довольно долго этот римский писатель был для меня всего лишь гениальным персонажем из фильма «Камо грядеши?», который нам показывали столько лет кряду на Страстной Неделе, когда в моей школе устраивались утренники.

Отцы-иезуиты были, судя по всему, так увлечены этим фильмом, что не могло не возникнуть легкой путаницы, потому что этот фильм не очень серьезный и не вполне религиозный: действующий там император Нерон, каким играет его Питер Устинов, предстает совершенно комической фигурой: он чувствует себя поэтом и терзает своими ужасающими виршами взыскательный вкус Петрония, который обязан критически разбирать их и в один прекрасный день, измучившись этой тяжкой работой, совершает самоубийство. И у него самого есть нечто комическое, ярче всего проявляющееся в его чудесном прощальном письме Нерону:

«Могу простить тебя за то, что ты убил жену и мать, за то, что сжег наш любимый Рим, за то, что вынудил весь народ дышать смрадом своих преступлений. Но не могу простить тебе то, как одуревал я, слушая твои стихи и песни самого дурного пошиба. Терзай, если тебе это нравится, своих подданных, но я, находясь при последнем издыхании, прошу тебя не истязать больше искусство. Расставаясь навсегда, умоляю тебя не сочинять больше музыку. Низводи народ до скотского состояния, но не нагоняй на него тоску, от которой страдаю я так тяжко, что предпочитаю

умереть, нежели и впредь слушать твои смехотворные опусы».

Эти слова Петрония приведены в книге, ставшей литературной основой для фильма, романе польского писателя Генрика Сенкевича. Однако я на протяжении многих лет считал, что Петроний в самом деле написал их Нерону перед тем, как нашел быстрый и эффективный способ освободиться от него, лишив себя жизни. И о существовании другого Петрония не знал, покуда не нашел книгу Швоба, где персонаж сильно отличался от героя Сенкевича. Этот самый персонаж сочинил шестнадцать приключенческих романов, у которых нашелся один-единственный читатель — его слуга Сирон, неуемный любитель такого рода литературы. Он так неистово восторгался ею, что его хозяин в конце концов задумал воплотить в жизнь приключения, описанные в этих шестнадцати книгах. И вот, проведав, что император уже обрек его на смерть, однажды ночью изворотливый Петроний вместе со своим рабом тайно бежал. Кожаный мешок с одеждой и деньгами они несли поочередно. Ночевали под открытым небом, брели по дорогам, не зная, не ограбят ли их… И постепенно в самом деле стали попадать во все передряги, описанные

Петронием в книгах. Они то в одну сторону, то в другую. Присоединялись то к бродячим волхвам, то к сельским колдунам-шарлатанам, то к беглым солдатам. И концовка, которую дает Швоб, заслуживает внимания: «Петроний, проживая выдуманную им жизнь, начисто утратил умение выдумывать».

Вчера я отвлекся, размышляя обо всем этом, то есть о невымышленном участии Петрония в моей жизни, и размышлял до тех пор, пока, поскольку, Кармен еще не вернулась домой, не задал себе прежний, неизбежный вопрос: почему же тридцать лет назад Санчес написал о ней рассказ?

Его героиня — анемичная девушка, хоть и отличается от той, которую я узнал в ту пору, однако все же узнаваема, потому что рассказанное Санчесом есть пусть искаженное воспроизведение того отрезка ее жизни, который так странно и в сущности так забавно и, думаю, не без воздействия высших сил предшествовал нашей случайной встрече на углу, после чего мы пошли выпить кофе, а через четыре месяца, в хорошем смысле слова ошалев, поженились.

Все, о чем рассказывает Санчес в «Кармен», происходило до этой сшибки на углу и доверху полно выдуманных подробностей, например,

о свадьбе совсем еще молоденькой Кармен и некоего сеньора из Олота, который, судя по всему, никогда в реальности не существовал, а в книге моего соседа описан как редкостная зануда, по счастью, умерший весьма молодым. Этот истинный или вымышленный супруг измытарил Кармен еще до свадьбы, о чем можно судить по следующему фрагменту: «Я не знал мужа Кармен, промышленника из Олота, но слышал о нем как о совершенно неотесанном мужлане из разряда тех, кого именуют сиволапыми, и совершенно не годящемся ей в мужья. Они обвенчались в Барселоне, в соборе Пречистой Девы Помпейской, и от торжества остались только изъеденные временем фотографии, с которых Кармен улыбается самой душераздирающей из своих улыбок. О, Господи, какая тоска, слышали люди, когда поезд тронулся и повез молодых на медовый месяц, запланированный в неколебимо скучном Плана-де-Вике, в этой огромной низине, что протянулась с севера на юг и составляет сердцевину округа Осона в провинции Барселона…»

Нежданными тропами я свернул к Осане, но сейчас возвращаюсь к прежней загадке: каким образом тридцать лет назад Санчес описал жизнь юной Кармен, загадке, разгаданной легко и про-

сто, едва лишь Кармен вернулась домой через полчаса после того, как я увидел ее у дверей кондитерской. В ответ на мой настойчивый вопрос, заданный слегка подрагивающим голосом, она с полным самообладанием сообщила, что Санчес в самом деле сочинил этот рассказ тридцать лет назад, вдохновившись перипетиями ее жизни в ранней юности, хотя и добавил толику «воображаемой жизни» в части, касающейся покойного зануды и иных незначимых слащавых подробностей.

Так или иначе, но в свете вновь открывшихся обстоятельств я на весь остаток вчерашнего дня, включая и утро сегодняшнего, впал в растерянность и смятение. Каким образом попала она именно в ту книгу, которую я собирался переписать и улучшить?

Как сейчас помню вчерашнюю сцену, когда я немедленно по возвращении Кармен домой спросил ее, была ли она у «Карсона».

— Я оттуда и иду, — ответствовала она. — Пирожных вот принесла, не видишь?

— Ты встретилась там с кем-нибудь?

Сбитая с толку этим вопросом, она ответила не сразу:

— Нет… А что?

Именно тогда я сказал, что как ни трудно в это поверить, я только что прочитал рассказ Андера Санчеса о ней.

— Да ну? — удивилась она.

И, не дрогнув ни единым мускулом, рассказала мне, что в преамбуле всей этой истории несколько дней была возлюбленной Санчеса и было это до нашего знакомства, однажды летом, затерянным во тьме времен: и молодой в ту пору Санчес впоследствии сочинил об этом рассказ, выдумав ужасного мужа из Олота и вдобавок умертвив его, Кармен же якобы решила не придавать этому никакого значения, потому что, как мне наверняка известно, «литература — дура, сболтнет — недорого возьмет».

— А Санчеса не было в кондитерской? — спросил я.

— Ты что, камеры там повесил?

— Просто я видел, как он входил туда, только и всего.

Она посмотрела на меня так, словно сомневалась, в здравом ли я уме. Потом пожала плечами, выказав полнейшее безразличие по поводу моих инсинуаций.

— Тебе бы заняться чем-нибудь… — сказала она чуть погодя. — Так нельзя: ты постоянно словно в

каком-то тумане. И потом, Мак, с тех пор прошло довольно много времени. Три декады, мне кажется. Я говорю «декады», чтобы ты лучше понял, что ворошишь старье. Декады! Декады!

Ее отношения с Санчесом, принялась повествовать она, — это, если коротко, ошибка молодости, один из многочисленных романов, которые она в то время крутила, ни слова мне не сказав потом, ибо всегда считала ненужным раздувать угасшее пламя маленьких страстей, ворошить пепел стольких банальных историй. Санчеса она иногда встречала в нашем квартале много лет спустя. Да, видела то в супермаркете, то в «Тендер-баре», то на террасе «Балтимора», то в кондитерской «Карсон», где он с доводящей до бешенства обстоятельностью покупал профитроли, то в баре «Трено», то в корейском ресторане, то в баре «Конго», то в ювелирном магазине братьев Ферре, то в кинотеатре «Калигари», то возле манекена в швейном ателье, то в парикмахерской «Рос», то в ресторане «Вена», то возле кассы на улице Вильяроэль, то в цветочном магазине сеньоры Лижии и т.д. Поскольку она бывает на улице в три раза больше, чем я, то и видит Санчеса чаще, вот и все. И даже не окликала его и не здоровалась, потому что он нес себя как божество и еще потому, что то

лето осталось очень далеко позади.

В ответ на мой недоверчивый взгляд Кармен метнула в меня свой — с такой, почти злобной решительностью, что я похолодел. Несколько мгновений мы оба молчали, и я помню, что тишину нарушало томительное тиканье часов обычно неслышное. Тут Кармен понадобилось узнать, зачем я читаю книгу Санчеса, если мне столько раз твердили, что она из рук вон плоха, как, впрочем, и все остальное, им написанное: так говорит Ана Тёрнер.

— Это Ана Тёрнер тебе сказала?

— Не уводи разговор в сторону.

И спросила, как же мне удалось узнать ее в героине этого рассказа? Поскольку вопрос был идиотским, а ответ очевидным, мне показалось, что это она хотела увести разговор в сторону. Ей это не удалось. Судя по всему, сказал я, ты не помнишь, что там, помимо прочих подробностей, перечислены поименно все твои поклонники. Да, это так, согласилась она. А кроме того, продолжал я, там есть фрагмент, где Вальтер, пытаясь в письме подруге передать цвет моря, на самом деле описывает твои глаза.

Мне оставалось только прочитать этот кусок: «Как объяснить тебе эту неистовую морскую си-

неву? Это цвет сапфира, но сапфира живого; это цвет ее глаз — прозрачных, но непроницаемых, глаз, где заключена чистота одновременно кристальная и очень плотная, глаз веселых и живых, единственных под этим бледно-голубым небом, подернутым дымкой».

Это странно, однако минуту назад, переписывая этот отрывок о сапфировых глазах, я почувствовал нечто неожиданное и не поддающееся рациональному осмыслению и снова влюбился в нее, как в первые годы.

Управляем ли мы своей судьбой или нами управляют невидимые силы? Так спросил я себя, слыша меж тем, что Кармен направилась на кухню, наверняка готовить обед. Я слышу, как удаляются в коридоре ее шаги, и вспоминаю еще один отрывок из рассказа:

«Непокорная дочь египтянки Изиды, прекрасная и бледная, как ночь, бурная, как Атлантика, Кармен специализируется на том, чтобы вселять отчаяние».

В отчаянии я хватаюсь за голову. Не вполне понимаю, зачем я это делаю: наверное, это от погибельной любви, от того, какое отчаяние дарует такая любовь и какой страх лишиться ее вселяет.

20

Я знал, что эффект от прочтения рассказа может быть совершенно сокрушительным, хотя на своей шкуре до сей поры не испытывал. Но со вчерашнего дня, к примеру, знаю, что он может заставить тебя влюбиться в свою многолетнюю подругу жизни. И знаете ли, что тут самое любопытное? А то, что я только сию минуту заметил, что рассказ, в книге моего соседа идущий следом за «Кармен», называется «Эффект рассказа», и я, обнаружив это, просто не знал, что и думать, потому что новое совпадение кажется уже перебором. С порога отвергаю возможность того, что рассказец этот будет посвящен возрождению моей любви, но если такое случится, истолкую это всего лишь как то, что реальный мир — ну, не я же, в самом деле — сошел с ума.

Так или иначе, но такое название следующего за «Кармен» рассказа помогло мне вообразить нечто, как казалось прежде, невообразимое, а именно, книги, в которых читатель найдет все, что произойдет в его жизни, причем именно в тот миг, когда это случится.

И тут я заподозрил, что со мной ведь может произойти следующее: прежде чем настанет день, когда я примусь переписывать роман моего соседа, само чтение его, не соседа, конечно, а романа, заставит меня *заранее пережить* какие-то его перипетии.

Возможно ли такое развитие событий? На свете нет ничего невозможного. Раз уж я начал воображать и размышлять, отчего бы не спросить себя: может быть, в последнее время агенты Бюро корректировки начали работать под прикрытием, имея целью утопить меня как бизнесмена с тем, чтобы легче было побудить меня вести личный дневник, из которого может получиться *ремейк* самого сумасшедшего романа Санчеса, что в свою очередь, как на блюдечке, преподнесло бы мне новую влюбленность в жену, а ведь именно это и имело место вчера… И хотя на все это можно взглянуть под другим углом и расценить как грубую шутку, задуманную все теми же гипотетическими агентами с целью разорить меня, лишив оперативного простора и возможности маневрировать, то есть открыть новый бизнес, и все для того лишь, чтобы я познал радость маргинальной деятельности (писательства) и счастье возвращения в тихую заводь, то бишь в лоно

опостылевшего было супружества.

А Бюро корректировки (прокатное название «Меняющие реальность»), о котором я говорю, я недавно видел по телевизору. Это экранизация рассказа Филипа Дика, где фигурируют кафкианские выкормыши или агенты Судьбы, они же сотрудники некоего Бюро корректировки, которые управляют судьбами людей и, если надо, вводят свои коррективы.

— Так ты думаешь, это кафкианские подголоски устраивают заговор, чтобы твой дневник стал всего лишь романом? — спрашивает голос.

Поскольку я как раз думал об этом, можно не отвечать.

&

К полудню я дочитал «Эффект рассказа», и, как и следовало ожидать, мир не сошел с ума, а стало быть, моя дилемма — мы ли управляем своей судьбой или нами движут незримые силы — до известной степени получила решение, ибо в рассказе даже не упоминалось воскрешение любви, так что я могу быть спокоен: никакого отношения к моей личной жизни он не имеет.

А наиболее явственно чувствовалось в этом восьмом рассказе, что Санчес черпал вдохнове-

ние в коротеньком и мрачном произведении вест-индской писательницы Джин Рис. И, разумеется, эпиграфом были взяты ее слова: «Я впервые поняла, что происходит на самом деле». И в истории, рассказанной Вальтером, слышатся отзвуки «Я здесь жила», потому что сюжеты обоих очень схожи.

В начале рассказа перед нами женщина, которая с камня на камень — заметно, что она в совершенстве знает этот опасный путь — переходит ручей. Женщина уверена, что возвращается домой, и тревожит ее лишь небо над головой, потому что оно в этот день какое-то другое и немного отличается от обычного, быть может, от того, что слишком серое и будто стеклянное. Выбравшись на другой берег, она останавливается перед выщербленными ступенями крыльца, у которого припаркован автомобиль, и это сильно удивляет ее. Да что она, машин что ли не видела? Мальчик и девочка играют в саду под большим деревом. «Привет-привет», — говорит она им, желая подбодрить самое себя. Но дети словно не замечают ее присутствия и продолжают как ни в чем не бывало свои забавы. «Я здесь жила», — бормочет она и инстинктивно протягивает к ним руки. Мальчик поднимает на нее серые

глаза, но как будто не видит. «Как похолодало вдруг, — говорит мальчик девочке. — Не замечаешь? Пойдем в дом». Женщина опускает руки, и вот перед глазами читателя возникает заключительная фраза, которую он так боялся увидеть: «Я впервые поняла, что происходит на самом деле».

Санчес/Вальтер в своем «Эффекте рассказа» берет в качестве отправной точки историю Рис, чтобы повенчать литературу с жизнью и поведать, какую тревогу вселяет в мальчика по имени Манолин случайно услышанный им рассказ «Я здесь жила», который отец вслух читает матери. Манулин потрясен, потому что история внезапно открывает ему истину: все мы рано или поздно должны будем умереть, а после смерти призраками явимся в отчий дом, где никто нас не узнает. Манолин спрашивает себя, зачем же он родился, если все равно придется умирать, и неужели же родители подарили ему жизнь лишь затем, чтобы он познал смерть.

«В Новом Орлеане уже наступил вечер, и тут у бедного Манолина так задрожала рука, что он выронил свой стакан молока и потребовал, чтобы я еще раз прочел этот рассказ. Он был до того взволнован тем, что я только что прочел его матери, что я счел за благо не повторять ни единого слова

из истории, которую всего минуту назад весело читал вслух. Помню, что безмерно удивился, что рассказ может произвести такой эффект, потому что детям понять его было трудно. Однако Маноли был явно опечален и все повторял: «Я здесь живу… я здесь живу…» Он оставался молчалив, задумчив и тревожен, пока наконец не рухнул в постель и не заснул. И не вставал трое суток, хотя доктор заверил нас, что с ним все в порядке».

Доктор в этом рассказе — фигура не проходная: это севилец, и ближе к концу становится очевидно, что место действия, в том числе и пространный, неслыханной густоты эпизод, где таинственный рассказчик, выведенный в подражание герою Рис, страдает от эпохального, беспримерного похмелья, каким могут одарить лишь семь тысяч порций рома, выпитых одна за другой, да, так вот, место действия — Новый Орлеан, который очень напоминает Севилью. Чем именно, сказать трудно, потому что города эти очень разные, но все же рассказчик уверяет нас, что они похожи. И, хотя ничего не говорит впрямую, но достаточно ясно указывает читателю на то, что мальчик из рассказа — это будущий севильский цирюльник в тот самый миг, когда он понял, что рано или поздно умрет (вот только

не знал бедный Манолин, что умрет от руки некоего чревовещателя, который убьет его в темном лиссабонском переулке).

«В жизни своей не видел такого печального лица, как у этого бедняги, трое суток не вставшего с кровати. «В котором часу я умру», — спросил он к вечеру третьего дня. Мать не нашлась, что ему ответить. А я, не принадлежа к семье, еще меньше знал, чем бы мог помочь ему в такой трудной ситуации. «Я понял, что умру, правда ведь? Ведь так говорится в том рассказе», сказал мальчик. И мы все просто окаменели, отвели глаза, а потом улыбнулись, словно прося его успокоиться».

В определенный момент открывается нам, что в Новом Орлеане, на берегу моря, все юнцы пребывают в печали. Меж тем мы уже приблизились к финалу рассказа.

«К вечеру Манолин отчасти восстановил свою неистощимую жизненную энергию и, словно подражая улыбкам, которыми мы обменялись несколько часов назад, хохотал по любому поводу. Все его смешило, все казалось ему забавным. Но сам он сделался другим. Детство вдруг окончилось. Случайно услышанный рассказ привел его к постижению той несокрушимой реальности, которую мы называем смертью. От этого он за-

болел, но от этого же обрел свободу реагировать так, как хочется. Например, смеяться. И один бог знает, как много смеялся этот ребенок, ибо смеялся он столько, что уже невозможно было понять, когда это был именно смех, а когда он сменялся трагическим оскалом отчаяния».

Этими словами завершается «Эффект рассказа», а с ним вместе и похождения мальчика, которому в свое время доведется узнать в лиссабонском переулке, до какой же степени точно сбылось то, что он случайно услышал в детстве.

Ну, и хватит на сегодня. Меня клонит в сон и склоняет к мысли, что утро вечера мудренее или что-то в этом роде. Разве не так говорят водители дневников? Кармен смотрит телевизор в гостиной. Я запираю входную дверь на два оборота, но прежде оглядываю через решетчатое оконце лестничную площадку и наслаждаюсь видом на треугольный завиток перил. Кажется, что во всем нашем доме нет ни души. Он, что называется, объят безмолвием. Ну, разумеется, большинство соседей уже вернулись к себе в квартиры, а многие вот-вот задремлют. Я представляю себе Санчеса в соседнем корпусе: он тоже вернулся домой, готовится восстановить силы целебным сном и вдруг одним прыжком вскакивает с кро-

вати, как будто некий еле слышный звук из подпольного мира возвестил о той неопределенной угрозе, которую несу я, Санчесов сосед, продолжающий, никому ничего не сообщая, планировать изменения в воспоминаниях Вальтера. А ведь я еще даже не дочитал их до конца.

[ОСКОП 20]

Я тут подумал, а меня уже покачивает, и, по-хорошему, следовало бы идти ложиться спать, но я тут подумал и не хотел бы забыть, о чем, а потому и решил занести мои раздумья на бумагу, хотя сон одолевает меня. Не думаю, что Санчес, включив в мемуары Вальтера историю, пережитую парикмахером в детстве, поступил дурно и что история эта внесла хаос во всю книгу. И я начал даже считать, что включение таких побочных — по отношению к магистральному повествованию — сюжетных линий есть своего рода открытие, ибо жизнь человеческая не определяется исключительно событиями, в которых он участвует непосредственно. Случается и так, что элементы, не имеющие вроде бы отношения к его миру, в итоге могут объяснить его жизнь лучше, чем те, в которые он вовлечен и глубоко погружен.

Я припомнил, как впервые увидел нечто по-

добное в биографии одного художника. Много лет назад я прочел биографию Бодлера, которая начиналась с рождения его деда, а заканчивались через четыре года после его смерти и где особый раздел был посвящен заблуждениям Жанны Дюваль, возлюбленной поэта, на костылях бродившей по бульварам и разговаривавшей сама с собой. Уже тогда мне показалось интересным, что и эти самые заблуждения тоже были частью жизни Бодлера.

Бывает так, что фокус, смещенный в сторону или куда-то вбок, позволяет лучше высветить центральную сцену.

&

Я просыпаюсь и встаю, чтобы занести в дневник то единственное, что мне запомнилось из всего кошмара. И кто-то с замечательным упорством повторяет мне:

— Понимаешь, не часто бывает, чтобы человек читал историю, сочиненную соседом тысячу лет назад.

21

Сдается мне, что реальность не нуждается в том, чтобы ее организовывали ради сюжетной занимательности, она сама по себе очаровательный и неиссякаемый источник творческого воображения. Однако случается и так, что реальность отворачивается от этого источника, именуемого жизнью, и тщится облечь все происходящее в романную форму. И тогда я противлюсь, потому что не желаю, чтобы что-нибудь воспрепятствовало мне вести дневник, сопротивляюсь в таком же ужасе, который охватывал доктора Джекилла при виде мистера Хайда, когда он заметил, что доброе начало подавляется коварным незнакомцем, вселившимся в его телесную оболочку. Именно это случилось сегодня, когда реальность, использовав все подручные средства, задалась целью показать мне свою беспощадную машину вымысла, и это не давало мне покоя до тех пор, пока я не сдался и не повлекся навстречу скудному неоновому свету в глубине улицы, на которой расположен убогий бар «Трено».

Сколько же лет не ступала моя нога на мостовую

этой зловещей улицы? А разве она находилась не в квартале Койот? Многие годы я избегал ее, имея на то веские резоны. Так или иначе, но неоновый свет средь бела дня привлек меня, и вскоре я уже обнаружил, что сижу в неуютном углу бара «Трено», самом просторном и вдобавок старомодном заведении Койота. Я зашел, чтобы выпить двойного кофе, в котором нуждался столь остро, что и секунды не потратил на поиски местечка попригляднее, тем паче что, по крайней мере, на этой улице такового не имелось.

Я выбрал столик в наименее привлекательной зоне: он стоял сразу за бесконечной древней стойкой, какими в былые времена оборудовались «Макдональдсы». Облюбованный мной столик был крайним в ряду тех, которые отделялись стеклянной матовой перегородкой от глубины зала, и потому тамошних посетителей было не видно, зато слышно прекрасно. И вот там-то я и устроился, не дав себе времени хотя бы на миг задуматься, не выйдет ли мне боком мой выбор, и сильно удивился, внезапно услышав из-за стекла противный, металлический и брюзгливый голос санчесова племянника.

О, господи, подумал я, не может этого быть. Племянник рассказывал двум барышням, как

скверно идут дела в мире литературы, из которого бизнесмены изгоняют все, что им кажется чересчур сложным и перегруженным смыслом. «Мы попали в лапы чудовищ», — добавил он неожиданно и безапелляционно. И принялся объяснять разницу между автором бестселлеров, поверхностным как последний газетный писака, и писателем многозначным и глубоким, как, скажем… Мундиджоки.

Он сказал «Мундиджоки» или я так услышал. Быть может, он так же отличается от автора бестселлеров, как отличается писатель, знающий, что в хорошо сделанном описании есть и мораль, и желание сказать то, что пока еще не звучало, от автора бестселлеров, для которого язык — просто способ получения результата, и который использует одни и те же принципы и формулировки, призванные обмануть читателя. По счастью, есть еще авторы, завершил свою речь племянник, для которых именно борьба за создание новых форм неотделима от этического начала.

Это было немного похоже на Нагорную проповедь.

Однако проникнуться и уверовать было трудно, ибо звучали четыре замусоленных тезиса о состоянии индустрии культуры. Но две барышни

были, судя по всему, очарованы тем, что излагал им мизантропствующий племянник. В конце концов, подумал я, придется допустить, что это работают на меня сотрудники Бюро Корретировки. Если бы это было так и если бы Бюро в самом деле существовало, пришлось бы признать, что работают они спустя рукава, потому что спич племянника-злопыхателя был, мягко говоря, очень фальшивым. И, словно ему мало было, помолчав немного, он заявил, что самые интересные люди на свете — те, которые никогда ничего не писали. Что ж тогда, спросил я себя, мы будем делать со всеми его мундиджоками?

Еще немного, и я вслух повторю этот вопрос из-за матового стекла перегородки.

Дальше было забавно. Мистически подсоединенный к заявлению в пользу тех, кто никогда ничего не пишет, с улицы донесся оглушительный вой сирены. И когда вновь стал слышен голос племянника, мне показалось, что все стало иным.

— Меня часто поносят, — негромко и печально говорил он, — но я не боюсь показываться таким, каков я есть. И презираю тех, кто хочет всегда выглядеть воспитанным и благоразумным и всякое такое… Я говорю, не задумываясь о последствиях.

Меня не заботит, какое впечатление произведу. Хотя, признаюсь, сегодня утром я побрился, но это значит лишь, что я побрился, — тут он засмеялся или мне так показалось: издал такой певучий и несколько глуповатый смешок. — Я счастлив быть именно таким, а не каким-нибудь другим. Я ничего не боюсь. Понимаете меня, девушки?

Никто ему не ответил, и молчание соседок по столу ускорило ход событий. Племянник только что обнаружил свою истинную и единственную цель и теперь длинно и занудно описывал, какое празднество хочет устроить в своей норе. Тут уж мне стало совсем невмоготу, потому что мне оставалось только сидеть и подслушивать, как топорно он пытается заволочь в койку обеих сеньорит. В какой-то миг я перестал их слышать, а когда вновь включился, одна из них говорила:

— Пусть так, но мы все равно должны взять интервью у твоего дядюшки, ты должен нам помочь.

Дальше я слушать не хотел, все и так было ясно. Один хотел завести с ними шашни, а две другие просили что-то такое, чего племянник предоставить им не мог. Но главное, мне пора было домой, что я, спрашивается, забыл в этом баре? Я направился к выходу, оплатил счет и

вышел на улицу. И тут же, едва начав по улице медленное возвращение домой, подумал, что уже достаточно наслушался племянника, благо для этого представилось два случая, чтобы понять: его ужасная и глупая сторона отчасти компенсируется стороной неведомой, которую он сам, уснащая рассказ какой-нибудь подробностью, всегда оставляет открытой. Иными словами, если принять в расчет, что я не знаю, какую карту он мне сдаст, лучше будет, сказал я себе, оставаться с более благоприятным вариантом, потому что если он в какой-то миг достигает гениальности, то это указывает, что он действительно гениален, пусть даже потенциально. Вместе с тем я должен был признать, что есть в нем нечто очень жалкое, чтобы не сказать «гнусное», ибо так упорно и настырно поносить, даже в целях охмурения девиц, собственного дядюшку — это как минимум очень некрасиво, чтобы опять же не сказать сильней. Однако мне кажется, что, несмотря на это, бедный племянник выигрывает в сравнении с дядей, ибо тот — самый настоящий надутый индюк и вдобавок совершенно невыносимый тип, а в прошлом еще и бывший возлюбленный Кармен, и я, кстати, это обстоятельство еще не до конца переварил.

А племянник мне нравился прежде всего тем, что легко и свободно проявляет черты личности, которые, хоть во многих аспектах и вредят ему, но позволяют оставаться *самим собой*. По сути дела этот раскованный и к тому же весьма злоязычный малый постоянно твердит, что тот, кто не пишет и отказывается склонять голову перед системой, обладает достоинством как минимум не меньшим, чем тот, кто марает бумагу, производя на свет жалкий, но доходный роман. Племянник, сам того не зная, сделал для меня нечто очень важное, а именно, показал, как много я выиграл, выбрав путь писательства, далекого от того, что принято называть «мирской суетой»; путь не публикующего написанное; путь, на котором пишешь ради чистого наслаждения от самого процесса учения и от попытки, наконец, узнать, что ты напишешь, если примешься писать.

Племянник вызывал у меня противоречивые чувства, потому что у нас с ним было и кое-что общее: ему, судя по всему, нравилось жить бродягой-маргиналом, а мне — нет, но в глубине души я чувствовал, что и меня влечет такая жизнь, и лучшее тому доказательство — мое благожелательное отношение к идее Вальтера отправиться в путешествие по арабским странам на поиски

корневого, изначального мифа, то есть первого рассказа. И если в душе Вальтера по необходимости зародилась мысль о бегстве, то у меня она выродилась в идею бродяжничества, которая, я чувствовал, могла бы осуществиться прямо на страницах этого дневника.

&

«Это не имеет ни малейшего значения и потому так интересно», говорила Агата Кристи. И, припомнив эту фразу, я, уже минут пять как удалявшийся от бара «Трено», вдруг подумал о несчастном и злобном племяннике. И внезапно решил сделать налево кругом и вернуться туда. Долгую минуту я шел вместе с несколькими китайцами, которые держали ту же скорость и не давали мне ни обогнать их, ни отстать. Они будто копировали меня или разыгрывали, замысловато подшучивали над моей манерой идти, и это напомнило мне, как вчера Кармен, движимая, наверное, радостью от возвращения первой любви, предложила мне куда-нибудь поехать. Например, в Китай, сказала она и ничего больше не прибавила ни про Китай, ни про что иное. Так и осталось плавать на поверхности одинокое диковинное слово «Китай». Когда же через

несколько минут я переспросил, она ответила, что ничего не говорила. Казалось, она забыла про некое обстоятельство, которое не позволяет ей никуда ехать, а теперь вот спохватилась. Забавно, как категорически она заявила, что ни о каком Китае у нас и речи не было.

По пути я завернул в погребок «Аморос», где выпил почти залпом порцию джина с тоником, и не за тем, чтобы внезапно вновь сделаться густым и плотным, а с намерением набраться храбрости. И когда снова вошел в грязный «Трено», и скорым шагом миновал длинную допотопную стойку, и оказался за стеклянной перегородкой прямо перед племянником как раз в тот миг, когда он — не знаю, как правильно его назвать: «повторяло» или «повторяльщик» — повторял, что его дядюшке нечего сказать. До этой минуты я его не видел, а только слышал через перегородку. И теперь мне показалось, что он со времени нашей последней встречи стал как-то опрятней и свежей и, я бы даже сказал — раздался в плечах, за что, впрочем, благодарить надо было подплечники его красного пиджака, в котором он выглядел моложавым и здоровым.

— Если даже предположить, что это так, и вы не оставили ему ни единого шанса высказать-

ся, — бесцеремонно прервал я его, — мне бы все равно хотелось поговорить с вашим дядюшкой, с вашим прославленным дядюшкой, ибо мне необходимо кое о чем расспросить его.

Он посмотрел на меня с ужасом. А две его спутницы, юные, как я и предполагал, девицы, которым очки в черепаховой оправе придавали интеллекта, тоже как будто испугались, хотя тотчас стали хохотать, и так, что у одной слетели на пол очки, а вслед за очками, и она сама.

Думаю, мне удалось сперва изумить, потом напугать, а потом и рассмешить их. И нервничать не стоит, сказал я себе. Но сознавал тем не менее, в какую совершенно ненужную интригу угодил. Племянник-мизантроп оказался пьянее, нежели я предполагал и, кажется, намеревался встать и поговорить со мной всерьез и, так сказать, по-мужски. Тогда с долей застенчивости, но без зазрения совести я представился репортером из «Вангуардии». И показал куда-то за стены бара, на восток, в ту сторону, где стояло здание, в котором размещалась редакция этой газеты, несколько лет назад перебравшаяся из центра Барселоны в квартал Койот.

И немедленно понял, что только слабоумный мог хотя бы намекнуть, что хочет попасть на

прием к Санчесу. Что скажет он, если узнает? И я тотчас отступил со всех позиций, и принялся извиняться, и попытался притвориться обычным безумцем, что у меня недурно получилось. И, словно бы про себя, процитировал Горация: «Ты слишком много играл, ел и пил. Пора домой».

— Ну, так как? Собираетесь вы или нет перехватить наше интервью? — не без лукавства спросила одна из девиц.

Я не стал ждать, когда они засмеются или племянник даст мне в морду, и со всевозможной быстротой смысля оттуда, уподобясь Петронию, ночью бежавшему из дворца Нерона с кожаным мешочком, и буквально пролетел вдоль длинной старинной стойки, за которой вяло перетирал тарелки лысый бармен — раньше его там не было — кого-то он мне напомнил. Показалось, будто он меня окликнул, но я не остановился. Нет-нет-нет, ни единой лишней минуты в баре «Трено». И уже выходя на улицу, я оглянулся на бармена и понял, что если бы еще его звали Мак, он был бы вылитый персонаж фордовского фильма — тот самый бармен, который никогда не был влюблен. Вот ведь оно как бывает, сказал я себе с удивлением. И повторил: Вот ведь оно как бывает. Да сколько ни повторяй, все равно не понять, чту забыл здесь

этот другой Мак.

22

Поскольку Кармен настаивает, что я веду растительный образ жизни — она не считает, что ведение личного дневника со всеми сопутствующими этому занятию трудностями можно счесть работой — и поскольку настырно твердит, что целыми днями сидеть сиднем и сложа руки — это просто опасно и может довести до самоубийства: «Что, если ты покончишь с собой сейчас, когда мы снова так любим друг друга?» — говорит она с насмешкой, которая обескураживает меня, ибо если в душе ее возродилось прежнее чувство, откуда же этот неуместно издевательский тон? — то я решил сегодня же, за обедом объяснить ей, что дневник свой я веду от руки, повинуясь внезапному порыву, а потом и часами просиживаю у себя в кабинете, глядя на записи, словно сквозь увеличительные стекла, редактирую их, набираю текст на компьютере, распечатываю, снова правлю и наконец создаю документ, который вчера сохранил в Word под названием «Записки утонувшего строителя».

— Почему строителя? — спросила она.

— Вижу, что тебя удивило это, а не то что я чувствую себя утопленником.

— Меня все удивило. И прежде всего, что ты считаешь, что занят делом, потому только, что ведешь дневник. Ты там откровенничаешь, а?

— Разумеется. И пишу про тебя разные чудеса, но ты никогда этого не прочтешь.

Надо было бы выразиться как-нибудь иначе, но меня раздражает, как Кармен, выказывая демонстративное презрение к литературному творчеству, умудряется постоянно проявлять полнейшее равнодушие к моим первым шагам на этой стезе. Она столь безразлична к ним, что даже не спросит, почему же никогда этого не прочтет. Ну и ладно, я сам объясню.

— Не то чтобы я хотел что-то скрыть… — сказал я. — Однако нуждаюсь в полной свободе — даже от самого себя. Но все же иногда обращаюсь к умопостигаемому читателю, которого не ищу, но с которым разговариваю, сам того не замечая.

Как и следовало ожидать, Кармен выражением лица обозначила, что все это ей совершенно неинтересно. Она не любила распространяться об этом, но из-за какой-то детской травмы, судя по всему, связанной с дислексией, книги были ей глубоко противны. Травма эта, без сомнения,

передавшаяся ей по наследству от родителей, которые тоже страдали дислексией, привела к возникновению вначале слабой, а потом стойкой и неконтролируемой боязни печатного текста.

— Я рассказываю о тебе чудеса, — сказал я. — Неужели не хочешь послушать? Знаю, что сама читать не станешь, но я могу прямо сейчас пересказать это.

Но и это обещание не пробудило ее интерес к дневнику.

В последовавшей паузе я подумал, что если бы в таинственных обстоятельствах, связанных с нераскрытым преступлением я должен был бы внезапно бежать в чем есть, ну, скажем, в белой рубашке и темных брюках, и с кожаным мешочком, где лежало бы самое необходимое, бежать и затеряться в божьих полях, в бескрайнем мире, и второпях забыл бы дневник, то Кармен пришлось бы тогда по настоянию полиции ознакомиться с этими тайными страницами, где кто-нибудь — да, может, и она сама — узнал, как сильно я ее люблю и как же бесит меня ее безразличие к моим писательским опытам в странном сочетании с насмешливым отношением к ним.

Какая славная месть была бы: самому сбежать на Восток, а дневник — оставить, так что волей-

неволей Кармен пришлось бы поинтересоваться им хотя бы ради того, чтобы потом передать его полиции. Но все это праздное умствование, потому что я люблю ее, пусть даже порыв убежать, искушение уподобиться Вальтеру и скрыться — в моем случае даже не надо никого убивать — сильны необычайно.

И что потом сделает Кармен со страницами моего дневника? Может быть, забудет навсегда, а может быть, изобразит из себя Макса Брода и предложит какому-нибудь издательству. «В конце концов, хоть он и писал для себя, но все же искал своего читателя», жалостливо скажет она, не переставая, впрочем, изображать безразличие при взгляде на то, что называет «литературной жвачкой».

Да, может быть, она тотчас забудет этот дневник, а может быть, превратится в своего рода Макса Брода. И я, оттуда, где буду бродить неприкаянно по тысяче дорог, одобрю и безмолвно рукоплещу тому, что появилась публикация и люди, которые прочтут ее, поступят со мной так же, как я с Санчесом: иными словами, прочтут, а потом преобразуют.

А я? А где в это время буду я? В постоянном блуждании? Все это лишь предположения, но

думаю, что затаюсь где-нибудь — в какой-нибудь новой Счастливой Аравии — как называли эти места древние греки из-за того, конечно, что вывозили из порта Моха кофе и ладан, укроюсь в каком-нибудь местечке, напоминающем африканскую страну, где на протяжении многих лет царило веселье, а теперь правит панический ужас и прочно обосновалось несчастье.

Я бы так скрылся из виду, что все наверняка сочли бы меня покойником. Я бы так затаился, что куда там Уэйкфилду, персонажу рассказа Готорна, где описан муж, который в один прекрасный день вышел из дому, сказав жене, что вернется самое позднее в пятницу, однако все откладывал да откладывал свое возвращение и следующие двадцать лет прожил в одном доме в конце улицы, пока наконец, одолев этот срок, в метельный январский день не увидел огонь в очаге, не решил вернуться и не постучал как ни в чем не бывало в дверь своего дома.

И то-то все удивились бы, найдя мой дневник и обнаружив, что хотя он обрывается на полуслове из-за серьезной неприятности с автором — он то ли исчез, то ли умер — но состояние его таково, что позволяет, не тронув ни единой запятой, немедленно издать его.

Рукопись состояла бы из двух идеально разграниченных частей: вторая преобразовывает историю (с убийством внутри), спрятанную в самой середке дневниковых записей первой.

Случилось бы так, что, вопреки внешним приметам, дневник не прерывается бегством автора и, стало быть, не может считаться неоконченным, а совсем наоборот: он и был бы задуман так, чтобы исчезновение автора — он мог затеряться где-то в мире, но мог и умереть, что, кстати, было бы лучше, ибо стало бы чистейшим отсутствием — стало бы насущно необходимым завершением игры, которую сам текст организовал так, что возникла необходимость в гибели или бегстве того, кто сочинил его, ибо дневниковое произведение получило бы идеальный финал, а сюжет, кажущийся незавершенным, — совершенное завершение. И, стало быть, перед нами оказался бы дневник, который его автор с самого начала собирался выдать за «неоконченный» и задумывал замаскировать его под «посмертный роман с открытым финалом», в том, разумеется, случае, если автор — современное воплощение Уэйкфилда — предварительно принял бы меры к своему исчезновению.

И тогда Кармен превращается в Брода, ибо бы-

вают еще и не такие чудеса. Быть может, она и опубликует якобы «неоконченный» дневник.

Однако все это, сказал я себе под конец, всего лишь праздное умствование, которое меня развлекает и отчасти утоляет мое жгучее желание отомстить Санчесу за его безразличие к моему «скромному знанию». Спекуляции эти берут исток в моем признании, оглашенном в самом начале этого дневника: я питаю слабость *к посмертным и незавершенным* книгам и испытываю желание сфальсифицировать одну такую, пусть она покажется оборванной на полуслове, не будучи таковой… И если когда-нибудь моя мечта исполнится, книга эта, в сущности, вольется во все более востребованный поток современной литературы, состоящей из «посмертных подделок», относящихся к малоизученному пока жанру.

&

Ближе к вечеру, когда Кармен после долгого разговора повесила наконец трубку, я прибег к защите кафкианских приспешников из Бюро корректировки и прежде всего попросил их избавить меня от контактов с Отделом неполадок (тайная структура внутри Бюро), а потом взмолился: если они и вправду существуют, пусть протянут мне

руку помощи в достижении невозможного: пусть Кармен обратит хоть капельку внимания на то, что я намереваюсь рассказать ей о моих трудах начинающего писателя.

Полагая, что нахожусь под защитой… или, вернее, предпочитая думать, что нахожусь под защитой сотрудников Кафкианской души клерка (еще один отдел из многих), я очень решительно направился туда, где находилась Кармен, и с ходу, без околичностей и прелюдий, в упор сообщил ей, что в моем дневнике нет ни единой строчки вымысла, кроме того, что я — разорившийся воротила строительного бизнеса. И ожидал реакции, но Кармен и этим меня не удостоила, и тогда я прыгнул в свою личную пропасть и сказал, что придумал себе такое прошлое, чтобы не надо было снова думать о *драме*.

Тут наконец последовала реакция. Зазвучали панические ноты. Едва я упомянул *драму*, Кармен изменилась в лице и даже внезапно обратила внимание на мои слова, ибо вот уже на протяжении нескольких недель ничто не вызывало у нее такого ужаса, как слово *драма,* употребляемое в наших с ней беседах. И его одного довольно было, чтобы возникла тема, вокруг которой я непрестанно вертелся в нескончаемые

дни, последовавшие за моим увольнением из адвокатской конторы, где я проработал всю жизнь.

Дабы продлить это внимание, дабы привязать Кармен к воображаемому столбу и таким образом заставить ее выслушать все, что ей необходимо знать, я как бы мельком сообщил, что не желаю, чтобы этот дневник заставил меня вернуться к «черному псу» — это жуткое и столькими уже использованное выражение есть образ меланхолии — на что она ответила взглядом, выражавшим непритворный ужас, потому что упоминание пса пугало ее еще больше, чем упоминание драмы, и напоминало те дни, когда я, лишившись работы, корчился от безысходности, которую и называл «черным псом».

Покуда длился этот приступ паники, вызванный возможным возвращением моих душевных недугов, которые Кармен считала почти побежденными, я рассказал ей, что начал вести дневник отчасти потому, что полагал с его помощью выбраться на поверхность из той пучины, куда угодил два месяца назад, после увольнения из адвокатской конторы. И для того, чтобы добиться от дневника целебного эффекта, я и придумал себе новую профессию, — стать застройщиком показалось мне дельным решением, — которая

была бы далека от мира законов и уложений и избавила бы от постоянного противоборства с моим адвокатским прошлым, по крайней мере, до тех пор, пока не зарубцуются раны, причиненные оскорбительно грубым увольнением. Поскольку я не вовсе разуверился в терапевтических свойствах литературного творчества, во мне теплилась смутная надежда, что оно так или сяк поможет мне хоть до некоторой степени позабыть нестерпимое унижение. Уповал я и на то, что подспорьем в этом окажется мой дневник. Делая первые неумелые шаги на стезе писательства, я рассчитывал, что мне удастся удалить твердое ядро позора и падения, ярость из-за того, как бессовестно выбросили меня на улицу, память о скандале по поводу жалчайшей компенсации, страх, охвативший меня, когда я внезапно оказался без средств и не получил даже сухого и безразличного прощального привета ни от одного из былых коллег.

Требовалось избежать воспоминаний обо всем, что могло бы опечалить меня и помешать законным надеждам на счастье, высказанным в дневнике. Меня завораживала праздность, от которой даже самые твердокаменные мои убеждения рассыпались в прах блаженного без-

различия. Однако для погружения в эту спячку, обещанную мне грядущим, нужно было сколько-то часов в день заниматься дневником, а там — как можно меньше касаться моего адвокатского прошлого, возвращавшего меня к драме, к травме, к черному псу, к душевному опустошению, к самоубийству.

Все это я изложил Кармен, и тут случилось такое, чего я меньше всего ожидал — она отпустила крайне рискованную шуточку на краю, скажем так, бездны — певучим и нежным голоском, с явным намерением уменьшить драматический накал, игриво прощебетала:

— Да уж лучше быть почтенным, пусть и униженным адвокатом, чем прогоревшим капиталистом.

Я не поверил своим ушам.

«Прогоревшим капиталистом!»

Любовь слепа. Я повторил это дважды и трижды. Я должен был внушить себе это, если не хотел вернуться во времена самого жестокого кризиса и развалиться на куски.

[ОСКОП 22]

Сдается мне, что я продолжаю утверждаться во мнении, что мягкая обходительность руково-

дителя оказывается плодотворней и полезней для дела, нежели нажим и окрик. Исследования мозга (сделанные такими методами, как магнитно-резонансная томография) обнаружили, что от неуважительного обращения повышается артериальное давление и начинается стресс. «Это ведет к депрессии, которая, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, занимает второе место по распространенности в развитых странах. Начальник ведет себя неуважительно, и это не всегда выражается в окриках. Лидер работает ради того, чтобы наиболее полно раскрыть дарования сотрудников, и потому должен проявлять уважение, доверие и стимулировать мотивацию», — так объяснял некогда содиректор программы *коучинга* бизнес-школы в университете Деусто. Верится однако с трудом. Меняются формы вещей, но сами они остаются прежними и даже еще более чудовищными, нежели прежде, быть может, как раз потому, что мы склонны доверять переменам и верить, что они будут благотворны, и совсем не рассчитываем, что в один далеко не прекрасный день, когда мы меньше всего этого ждем, столкнемся с подлинной правдой: тебя не любят, потому что никогда не любили, с тобой расстаются, потому что ты стал стар и

потому что скандалишь и чересчур много пьешь: и вдобавок однажды в самый напряженный момент совещания по выходу из кризиса вздумал процитировать строки Уоллеса Стивенса[42].

[42] Примечания: 42

Уоллес Стивенс (1879–1955) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии.

23

Девятому рассказу, «Призрак писателя», предпослан эпиграф из стихотворения Эдгара По «Ворон»: «Гость какой-то запоздалый возле дома моего. Гость — и больше ничего».

Легко сказать — больше ничего: Ворон всегда — в основе всего, он вот-вот постучит в дверь, или уже стучит, или уже здесь и летает по всем нашим коридорам. Ворон — это Смерть, и даже такие, как я, при всем их несомненном умении все переиначивать и видоизменять, не могут истолковать этот фрагмент стихотворения иначе. Перед Вороном я теряю эту свою способность и становлюсь просто куском мяса. Победа неизменно остается за Вороном. Это как «зеро» в рулетке. Банк всегда выигрывает. И все же над Зеро можно подшучивать, издеваться, голос его можно заглушить. Поддельный «посмертный и неоконченный» роман может насмехаться над Смертью, которая так привычно и с таким поразительным упорством неизменно добивается своего.

Сегодня, сам не знаю почему — знал бы, мне бы стало легче — я проснулся и вдруг вспомнил,

как моя мать ходила с сумкой из крокодиловой кожи, а потом — те пластиковые прозрачные пакеты, о которых Джо Брэйнард сказал, что они напоминают ему висящие в кладовой мешки с провизией. Я помню и заранее завязанные галстуки на резиночках. А потом вспомнил, что какую бы книгу я ни читал, включая и те, что были запаяны в целлофан, наводивший на меня страх, я в каждой встречал Ворона, и это подобно тому, как Бардамю в первом романе Луи-Ферди-нанда Селина говорил: «Надо уметь расслышать на фоне любой музыки сотворенную для нас без нот мелодию смерти».

Мне почудилось, что я распознал отзвук этих слов Бардамю в том, что сию минуту, в девятом рассказе, произнес учитель нашего чревовещателя Вальтера: когда этот человек говорит, создается впечатление, будто это и есть самая что ни на есть тональность всех музыкальных произведений, лишенная нот.

Хотя я и собирался взяться за «Призрак писателя» с самого утра, но потом решил отложить чтение до ночи и весь день просидел в ожидании, пока тени сгустятся настолько, чтобы, когда я примусь за книгу, у меня был шанс увидеть Ворона — и, конечно, это обернулось чередой ко-

мических совпадений: черная птица, обнаружив меня, принялась вертеться рядом и попадалась мне на глаза целый день и по всему дому, как в какой-нибудь не менее черной комедии. Сколько раз Ворон пролетает рядом с нами в течение дня? Мы бы, наверное, свихнулись, если бы подсчитали.

«Смерть всегда рядом со мной», так, по словам Юнгера, сказал ему Селин и при этом ткнул пальцем в какую-то точку возле кресла, как будто там лежала собачка.

Ах, если бы в течение сегодняшнего дня я сумел бы выдрессировать Смерть, что, по всему судя, удалось Селину с его редкостным даром укротителя!

Короче говоря, в ожидании того лунатического часа, когда можно будет прочесть рассказ, я провел целый день, ненадолго, но зато постоянно прерываемый приступами ужаса от внезапных встреч с Вороном, наделенным, кажется, свойством быть одновременно везде. К какому же учителю пришел Вальтер? Кто он? Логичней всего было бы предположить, что это еще один чревовещатель. Однако необходимо было приняться за рассказ, который, будучи предпоследним в книге, подводил меня к порогу чтения/перечитывания

романа, сочиненного Санчесом, моим соседом. И вот, когда спустились первые сумерки, я не в силах был ждать долее и вошел в рассказ о том, как Вальтер был в гостях у Кларамунта, отрекомендованного как «великий учитель», хотя поначалу не представлялось возможным узнать, чему же он учит — ничего удивительного: этого, кажется, не ведает и сам Вальтер, который перемещается в далекий Дорм, понятия не имея, почему же он решил воздвигнуть свой алтарь именно в этой глуши.

Кларамунт был чревовещатель с многолетним стажем, но вершин в этом ремесле не достиг, потому что сам Вальтер пишет: «Я восхищался им, но не за его легендарную способность наделять даром речи многочисленных кукол, а за что-то другое — такое, что я и для себя не могу определить. Как ни странно, но мне никак не удается отыскать причину этого восхищения, но если я в чем и уверен, то именно в том, что восхищался им, восхищался сильно, очень сильно…»

Вальтер ездит в Дорм именно ради этого: ради постижения того, почему же ему столько лет снова и снова снится ему одно и то же, и во сне этом некто требует от него отправиться в каталанские Пиренеи, где затерян городок Дорм,

и там попытаться выяснить, почему же былая знаменитость Кларамунт — его учитель. Быть может, этот неотвязный и более чем назойливый сон — не более чем плод спящего разума? Ну, а если нет? Вальтер не может, фигурально выражаясь, сложить руки и закрыть себе доступ к судьбоносному откровению. Он заинтригован, он едет в Дорм в сопровождении Марии, необычайно деятельной и бодрой старухи, которая, будучи закадычной подругой одновременно и его матушки, и сестры Кларамунта, предложила свое посредничество и заверила, что по ее просьбе отставной чревовещатель примет Вальтера. Потому что, судя по всему, Кларамунт — человек сварливого и вздорного нрава, живет, наглухо отгородясь от житейской суеты, и превратился, по всем приметам, в оголтелого скандалиста и задиру, даром что стал совершенно беззуб и брызжет слюнями, вечно окружен сворой своих псов и имеет обыкновение причинять большие неприятности всякому, кто рискнет хоть немного приблизиться к его логову.

А в тот день, когда после долгого пути Вальтер и Мария постучались в двери его обиталища — огромного запущенного дома, Кларамунт был особенно не в духе. Прежде всего нам, как

читателям, которым совершенно необходимо поразмыслить над чем-нибудь, придет в голову, что Вальтер ожидает от этого визита разгадку того, какое мастерство продемонстрировал чревовещатель в миг прекращения своей артистической карьеры, каким величием и полным отсутствием снисхождения проникнуто было его сухое «прощайте». Более того, воскрешая в памяти последнее представление маэстро в Валенсии, он припомнил его последние слова на сцене, слова, ставшие легендарными для старожилов Мальвароссы:

«Я — тот, — якобы сказал Кларамунт на прощальном представлении в театре «Веранда», — кого вы все узнаёте очень медленно и чей образ всегда искажен неверными штрихами. Я — тот, у кого нет и никогда не было имени, тот, в ком одном заключено множество личностей. Тот, кто требовал от вас терпения, потому что, хоть и не говорил этого вслух, просил сохранять спокойствие на протяжении многих и многих лет моей деятельности на сцене, в процессе медленного, трепетного созидания человеческого образа…»

Читая эти прощальные слова Кларамунта, произнесенные со сцены в «Веранде», я не мог не соотнести этот «медленный трепетный про-

цесс созидания» с другим, очень схожим — тем, который в конце концов привел Вальтера к написанию его уклончиво невнятных мемуаров, где он неспешно (то и дело уходя в сторону и заставляя звучать чужие голоса), создает сложный образ человека: мемуары эти очерчивают силуэт убийцы, пусть даже по соображениям благоразумия и безопасности он показан не впрямую и не открыто.

На меня сильное впечатление произвела могучая вера Вальтера в необходимость визита к маэстро, он всякую минуту демонстрирует глубокую уверенность в том, что в доме старого брюзги он узнает все, что ему нужно. При этом он убежден, что инстинкт поможет ему разгадать любую загадку.

Быть может, предполагает Мария, мастерство Кларамунта коренится в чем-то очень незамысловатом, зиждется на чем-то таком, что находится на виду, подобно тому, как украденное письмо в рассказе По заметили не сразу, потому что оно лежало на видном месте.

— Тебе бы надо отточить свой инстинкт, — говорит Мария.

Под неумолчный разноголосый лай Вальтер и Мария стучатся. И тут происходит нежданное

— оказывается, что у чудовища есть душа:

«Узнав Марию, Кларамунт горячо обнял ее и прослезился. И вслед за тем очень театральным жестом пригласил пройти внутрь своего обшарпанного жилища. Мы уселись перед огнем за стол с жаровней, и монстр принес нам чаю с печеньем и вина с виноградников Дорма. Он оказался не столь свиреп, как его расписывали. Хотя внешне он вполне отвечал нашим ожиданиям: черный суконный костюм, поверх которого намотаны шали и шарфы, пятидневная щетина, один глаз не видит, а другой наводит ужас. Снаружи, со двора, доносился неумолчный лай собак. Они затихали на мгновение, а потом опять принимались рычать и завывать. Казалось, что в дом постоянно пытается проникнуть чужой, а псы его отгоняют. Я спросил Кларамунта, зачем он держит столько, чтоб сторожили? Нет, отрезал он, чтоб шумели. Это слово он произнес так, словно оно доставляло ему какое-то особенное и диковинное удовольствие. Я замолчал, незаметно наблюдая за происходящим и талантливо играя роль племянника Марии, каковым она для простоты представила меня».

Не закрывая рта, она рассказывает Кларамунту про общих знакомых — все как на подбор были

уже на том свете. А Кларамунт слушает и порою даже выказывает некоторый интерес. И время от времени сплевывает прямо на пол. И вот в какой-то миг говорит — причем голос его, по мнению рассказчика, очень похож на голос того мертвеца, который поселился в моем мозгу — о лунном затмении, объявленном нынче ночью, и начинает перечислять названия римских кладбищ. Одно за другим, словно читая странную заупокойную молитву. И собачий лай будто расставляет запятые в этом перечне.

Спускается ночь, Мария и Вальтер едят тортилью с сыром, испеченную хозяином собственноручно, и говорят о Португалии, «куда я через несколько дней собираюсь отправиться по работе, на длительные гастроли, которые при Кларамунте я, продолжая изображать ничтожного племянника, назову туристической поездкой».

— Насколько я понимаю, лиссабонские кафе битком набиты случайными идеями никчемных людей, — говорит Кларамунт.

И эти слова странно звучат в ночи. Кажется, что они из каких-то утраченных эссе Фернандо Пессоа. Вот только в эту минуту еще не знает Вальтер, что скоро попадет в Лиссабон и заколет севильского цирюльника отточенным наконеч-

ником зонта.

— Случайными идеями никчемных людей, — повторяет Мария: она словно хочет выделить сказанное Кларамунтом.

И вскоре, как будто усвоив его язык, рассказывает жуткую историю про то, как один юноша и попугай оказались в вагоне старого французского поезда, набитом убийцами. А рассказав, обессиливает, сдается сну, мягко приникает головой к миске, праздно стоящей на столе, за которым они ужинали.

— Пойдем прогуляемся, — говорит Кларамунт Вальтеру.

Ночь звездная, и до начала лунного затмения остается ровно час. Они поднимаются на вершину холма, откуда, по словам Кларамунта, природный феномен будет виден лучше. Идут сперва по гравийной дороге, потом по тропинкам и наконец оказываются на холме, откуда весь Дорм как на ладони.

По дороге как бы мимоходом Вальтер спросил Кларамунта, есть ли какая-нибудь причина для того, чтобы — как видится ему во сне, повторяющемся на протяжении многих лет, — он, Вальтер, считал его, Кларамунта, своим учителем? «Не понимаю», — ответил Кларамунт. «Я много лет

восхищаюсь тобой, — сказал ему Вальтер, — но до сих пор не понял почему». Кларамунт не без досады осведомляется, уж не полагает ли Вальтер, что ответить на это может он, Кларамунт? После этого Вальтер со стесненным сердцем сознает, что совершил ошибку, сказав это Кларамунту, ибо нет на свете истины непреложней этой: только ему одному дано выяснить все, что он собирался узнать здесь.

Где-то вдали, разумеется, на ферме-масии[43], включили радио, оттуда доносится музыка. «Соседи — это ужасно», — прерывает молчание Кларамунт. «И не говори», — отвечает Вальтер. На макушке холма они усаживаются на твердую землю и ждут возвещенного зрелища — исчезновения луны. И тут у Вальтера возникает ощущение, что Кларамунт, хоть поначалу может показаться нечто совершенно противоположное, расположен сотрудничать с ним и поможет узнать, чем же так восхищен Вальтер. Так и есть. Маэстро неожиданно поддается этому безотчетному чувству, отдается ему и нараспев,

[43] Примечания: 43

Масия — тип постройки в сельской местности, распространенный на востоке Испании: относится к кастильскому типу традиционных испанских жилищ. Это изолированные постройки, всегда связанные с аграрной и животноводческой деятельностью семейного типа.

как молитву, начинает рассказ о том, что делает он в течение дня.

— Я просыпаюсь в восемь, совершаю ритуальное омовение — принимаю холодную ванну: зимой — лишь несколько минут, весной — дольше. Это разгоняет сонливость. Когда бреюсь, пою, не очень мелодично, поскольку музыкальное чувство просыпается во мне лишь изредка, но с неизменным ощущением счастья. Прогуливаюсь в окрестностях нашего городка, иду в сторону, противоположную той, в какую пошли мы с тобой. Возвращаюсь домой, завтракаю молоком, медом и поджаренным хлебом. В полдень убеждаюсь, что писем нет: на самом деле письма мне никогда не приходят, я не получаю ни малейшего сигнала о том, что существуют другие люди. Поначалу я грешил на Дюрана-почтальона: он меня ненавидит и потому не доставляет почты. Однако вскоре должен был смиренно признать очевидный факт: меня ненавидит не только Дюран, а все человечество. Потом обед, приготовленный и поданный сеньорой Карлиной, и сиеста. Потом я представляю, что перед домом у меня растет столетняя липа, и иногда слушаю «Битлз». Хоть и знаю, что меня боятся, все же изредка иду вечером в город и рассказываю жителям Дорма

эпизоды моей чревовещательной жизни.

От этих слов на Вальтера снисходит просветление, потому что теперь он сознает, на чем зиждется мастерство Кларамунта. Как права была Мария, когда сказала ему, скорей всего, на чем-то очень незамысловатом и простом, на том, что открыто взгляду.

«Я понял, что он ушел бы из искусства. Лучшим его произведением было его расписание», пишет Вальтер.

Кларамунт был подлинным мастером разумного времяпрепровождения. Примером того, что жизнь существует и за рамками чревовещания.

«Помню вспышку того мига, который предшествовал затмению. Пролетел ворон, а потом как будто рухнула стена, и у меня возникло такое чувство, будто мы с Кларамунтом стали понимать друг друга в пространстве, находящемся превыше нашей встречи и этой жизни. Он читал мои мысли и давал понять, что со мной происходит то же самое. И, если даже предположить, что это было не так, все заставляло верить нашему единодушию в том, что пребываем не только за пределами Дорма, но и вдали от звездной ночи, которой объят мир».

&

В крыле цокольного этажа, глубокой ночью, склонившись над бумагами, сидела женщина с длинными черными волосами. Я восхищенно смотрел на ее профиль, на очень темную кожу, на позу человека, до самозабвения любящего работать. Будьте добры, сказал я, не знает ли тут кто-нибудь рабочее расписание мистера По?

24

По счастью, я все же не такой параноик, чтобы решить, будто сосед, о котором повествует «Сосед», десятый и последний рассказ в книге, — это Санчес или, чего доброго, я сам. Тем не менее я приступил к чтению со всеми предосторожностями, потому что после появления Кармен в рассказе «Кармен» логично было бы ждать чего угодно, даже самого неожиданного, как, например, вторжения смерти, хотя как раз с этим я бы совладал, ибо с Вороном справляюсь, это ведь всего лишь *черный пес*. Пес моей депрессии, кризиса, накрывшего меня после увольнения, и я одолел его и принудил к покорности.

Эту тему я пока оставлю, а сам, смеха ради, сообщу, что «Соседу» предпослан эпиграф из Г. К. Честертона: «Мы заводим друзей, мы наживаем врагов, но соседей посылает нам Бог».

Цитата повлияла на мое восприятие того, что я прочел в первых строках рассказа, от которых у меня осталось неизменно интересное ощущение: мне казалось, я читаю хорошего английского ученого, переведенного с исключительной точ-

ностью. Вальтер, обнаруживший настоящий талант пародировать Честертона, рекомендует нам углубиться в то, что он называет «лущить красноватые орехи, сидя у доброго камина». И такой зачин сулит много счастья, пусть даже у читателя нет в доме ни орехов, ни камина, а на улице, между прочим, стоит палящий зной — жара, какую можно счесть исторической.

Рассказ хорошо начинается, однако этот зимний антураж, который был введен в игру, быстро забывается, и мы, читатели, невольно начинаем подозревать, что повествовательную ниточку красноватых орехов автор обрывает по чистой лени. Так или иначе, но чудесное начало рассказа с таким скрупулезно-подробным описанием едва ли не каждой искорки, прыгающей в камине, скоро выдыхается — и вот мы внезапно застреваем в странной раскаленной и тягостной атмосфере, вязнем в сумбуре несущественных деталей, наводящих на мысль, что автор, кажется, отдает должное «густым фрагментам» книги, и все это заставило меня забыть о том, что я читаю, и поднять глаза от текста.

Иногда блистательное начало портит весь остальной рассказ, потому что тот неизменно оказывается значительно ниже уровнем. Я

поднял голову и взглянул наверх так, словно стосковался по величию, уходившему из текста, и засмотрелся на крошечного паучка в углу потолка, и начал мысленное странствие по миру Честертона, и припомнил его рассказ «Голова Цезаря», в котором патер Браун говорит: «То, что и вправду приводит нас всех в ужас, — это лабиринт, не имеющий центра, и поэтому атеизм — не более чем кошмарный сон».

Сколько же я не вспоминал эту фразу? И почему она пришла мне на память именно сейчас, когда так рассеянно следил взглядом за крохотным паучком? И, подыскивая объяснение, благо я не сомневался, что таковое имеется, я запутался в умственной паутине и припомнил фильм Орсона Уэлса «Гражданин Кейн», где эпизоды жизни этого самого гражданина — мистера Чарльза Фостера Кейна — неизменно складывались в рисунок бытия, очень похожего на кошмарный сон, на лабиринт, лишенный центра. Тогда я подумал, во-первых, о начальных кадрах этого фильма, где мы видим, что скопил Фостер Кейн. А потом — об одном из финальных эпизодов, где элегантная и безутешная женщина, сидя на полу во дворце, играет с огромной головоломкой. Эта сцена наводит нас на след: эпизоды не скреплены никаким тай-

ным единством, и ужасный Чарльз Фостер Кейн, магнат и делец, чью экранизированную биографию мы, как нам кажется, видим на экране, на самом деле — всего лишь плод воображения, хаос мнимостей… Рассказ о жизни Кейна изобилует лакунами: нам не говорят о важных событиях, но зато подолгу застревают на странных мелочах, на описаниях второстепенных персонажей, имеющих к герою лишь косвенное отношение.

Чувствуя, что мой разум и сам заблудился в этом лабиринте мнимостей, я все же осознал, что у «Гражданина Кейна» много общего с воспоминаниями Вальтера, тоже построенными на осколках жизни, на фрагментах, не спаянных тайным единством, но все время готовых перебирать обличья, важные или не очень, которые принимал артист, прочерчивающий траекторию, состоящую из мелких, дробных частиц и ведущую к созданию печальной головоломки под возможным названием «Жизнь чревовещателя» — жизнь, которая, в свою очередь, являет собой лабиринт в виде паутины без центра, то есть еще один кошмарный сон, хотя в этом случае в финальной главе рассказчик не только находит центр лабиринта, но и обнаруживает неожиданный и, без сомнения, ненормальный

просвет в зарослях, позволяющий ему считать, что у бегства есть свой собственный путь…

И, двинувшись по этому пути, я развеселился, и мне показалось, что «Сосед» благополучно взмыл в воздух и продолжил полет, я же не мог не признать, что, невзирая на привычные тревогу и уныние, жизнь моя вошла в некую фазу, подобную зеркалу, на поверхности которого вырисовываются, пусть неотчетливо, все самое высокое. Как читатель я мог стремиться ко всему. Перефразируя Гомбровича[44], как читатель я ничто и потому могу позволить себе все. Радости такого рода посещают меня нечасто, что наводит меня на подозрения: не проистекают ли эти приятные ощущения от постоянной работы начинающим пахарем на ниве словесности?

С этой минуты чтение «Соседа» пошло как по маслу: как будто между рассказом и чтением возник гармоничный союз, который одарил меня наслаждением с самого начала, с той сцены, где мне показалось, будто я полностью отождествляю себя с бродягой Вальтером, а тот, «идя в свете звезды своей судьбы», пришел в португальский поселок возле Эворы и в тамошнем баре услышал

[44] Примечания: 44

Витольд Гомбрович (*польск*. Witold Gombrowicz, 1904–1969) — польский писатель.

в полутьме и вполголоса рассказанную историю, столько же говорившую о парне из этого поселка — юном еврее по имени Давид, известным главным образом суровостью нрава, сколько и о его соседях, семействе чернокожих ангольцев — супружеской чете с тремя детьми, каковое семейство, по словам завсегдатаев бара, недавно обосновались тут.

Бедных негров по фамилии Жоан вся округа дружно корила за то, что они изо всех сил пытались сойти за людей, привычных к сельскому труду, тогда как в действительности совершенно не владели даже простейшими навыками. История, которую услышал в тот день Вальтер, передавалась из уст в уста и началась с того, что Давид крикнул ангольцам, что в сельском хозяйстве они не смыслят ни уха, ни рыла, то есть всего лишь повторил мнение, выражаемое — да еще и с большей злобой — всеми жителями поселка.

История о молодом еврейском парне и о семействе Жоан, неизменно рассказываемая в полумраке таверны, спустя несколько дней получила продолжение в виде наводящей ужас сцены: в бессчетный раз увидев, как соседская курица разгуливает по его лужайке, неумолимый Давид выпустил в несчастную птицу восемь пуль,

обратив ее в окровавленный комок перьев. С той минуты неистовый сосед стал внушать ангольской семье более чем обоснованный страх.

— Однако вчера случилось такое, о чем я желаю вам рассказать, отчего и ввел вас в курс дела, — внезапно и другим тоном сказал тот завсегдатай, которые до этого в полутьме излагал историю Давида и ангольского семейства.

И рассказал, что накануне трое ангольских детей, воспользовавшись отсутствием старших, ненадолго уехавших в Эвору, решили покататься на престарелой кобыле, не так давно купленной по дешевке или, иначе говоря, за бесценок их сердобольными родителями. И катались на ней довольно долго, до тех пор, пока несчастное животное в изнеможении не отклонилось куда-то вбок и не рухнуло замертво на лужайку. Детишки перепугались и, словно цыплята, которым грозит опасность превратиться в комок перьев, кинулись бежать в дом, спрятались в амбаре с зерном, решив носу не казать оттуда, пока не вернутся из Эворы родители. Время от времени они выглядывали из окошка, желая знать, что предпримет сосед. А тот, не веря своим глазам, смотрел на дохлую клячу, свалившуюся на его лужайку, а потом перевел взгляд на амбар, и дети

же тотчас отпрянули от окна, из которого наблюдали за ним. Когда смерклось, сосед вышел в сад, сел на траву в полуметре от покойницы и тоже принялся ждать возвращения взрослых. Когда же те ближе к полуночи появились, то оцепенели и онемели от страха при виде случившегося: сперва замерли перед трупом, потом опустились перед ним на колени и зарыдали, словно оплакивая самих себя и весь мир. Давид разжег у себя в саду небольшую жаровню, и в игре света и тени темная неподвижная туша, казалось, обретала временами чудовищные размеры. Супруги опасались, что подстать им будут слова и карательные меры, предпринятые юным евреем, однако тот, совершенно против ожиданий, приблизился к ангольцам и принялся мягко утешать их, ласково гладить по голове и тихонько рассказывать, отчего постигла бедную лошадь мгновенная смерть, а потом, скудно освещенный жаровней, поведал — опять же неторопливо и со всевозможной мягкостью — некую историю, которая на самом деле была старинной хасидской легендой, предпочтя, впрочем, утаить это обстоятельство от ангольцев, ибо счел, что объяснять им значение слова «хасидская» было бы совершенно излишней сложностью.

Легенда же гласит, что однажды, на окраине одного городка несколько евреев на исходе шабата сидели на полу в какой-то лачуге: все они были местные, за исключением одного, никому не известного человека — он был особенно убогим и оборванным и сидел в самом темном и грязном углу. Разговор, который до этого вертелся вокруг разных тем, наконец зашел о вопросе, живо занимавшем всех собравшихся: чего бы попросил каждый из них, если бы знал наверное, что желание его исполнится? Один сказал, что попросил бы денег, другой — хорошего зятя, третий — новый верстак, и так далее, по кругу. Высказались все, за исключением оборванца, скорчившегося в темном углу. Но прочие были так упорны, что после долгих колебаний он с большой неохотой ответил им так: «Я хотел бы стать могущественным царем и править обширной страной, и чтобы однажды ночью враг вторгся бы в пределы моего государства и еще до рассвета его конница оказалась бы у стен моего дворца, и никто не оказал ему сопротивления, и я, проснувшись в ужасе и не успев даже одеться, принужден был бы в одной рубахе и, преследуемый по пятам, бежать через леса и долы, горы и равнины без сна и отдыха, пока не оказался бы, живой и здоровый, в этом

углу. Вот чего бы я желал». Прочие поглядели на него недоуменно и спросили, чту бы он выиграл, получив желаемое. «Рубаху», — ответил он. Тем и завершилась хасидская легенда, ангольцы же на несколько секунд впали в растерянность, а потом заулыбались, благодарно принимая совет своего соседа.

В начале следующего абзаца произошел небольшой сдвиг по времени, как бывает в кино, и мы, оказавшись очень далеко от счастливых ангольских улыбок и сада, где лежит павшая кобыла, начинаем постепенно, по кратким фрагментам, познавать разнообразные места, где окажется чревовещатель в своем странствии от маленького португальского городка до выжженных холмов Ханаана, в странствии «туда, где берет исток устного повествования».

И вот так, перемещаясь от одного географического пункта к другому, но неуклонно двигаясь на Восток, мы вместе с рассказчиком садимся в самолет, который все никак не взлетает, но, оторвавшись наконец от земли, молниеносно оставляет позади солнце, в эту минуту оказавшееся вровень со взлетной полосой, и вскоре летит над белоснежными облаками, а под ними простираются, пусть и невидимые, бесконечные пески,

уходя к прекрасным холмам, где в древности были владения царицы Савской… Чревовещатель рассказывает, что, пролетая над землями Счастливой Аравии в надежде попасть туда к вечеру того же дня, убедился, что он — не ангел, никогда им не был и не будет. Не был и не будет — подразумевается «в числе прочих причин» — еще и потому, что в Лиссабоне прикончил парикмахера, однако слова его показались мне скрытой отсылкой к теме, поднятой Солом Беллоу, заметившего однажды, что где-то с начала прошлого века авиация предоставляет современным писателям возможности, которых были лишены их предшественники, в частности — своими глазами удостовериться, что там, в вышине, меж облаков, где, как всегда было принято считать, располагаются чертоги ангелов, нет даже намека на них.

&

Меня удивляет, что несколько дней назад я вроде бы припомнил, как почти в самом конце «Соседа» Вальтер бросается на середину канала, где некая спираль пронзает земной шар, и, когда, кажется, он вот-вот погрузится в эту бесконечную тьму, спираль выбрасывает его наружу и возвра-

щает в какой-то незнакомый и архаичный край. Должно быть, я читал это в другой части, потому что ни в финале рассказа, ни в финале романа я не обнаружил ничего похожего.

Так откуда же взялось это воспоминание? Может быть, я вычитал его в другой книге? Самолет в самом деле упоминается в мемуарах Вальтера, однако же нет упоминаний ни о спирали, выбросившей его наружу, ни об ангелах. Зато есть позабытая мной сцена с попутчиком, который уверяет, будто знает все, и развлекается, рассказывая историю семьи, окончательно — он настаивает на этом «окончательно» — оставленной в Торонто. В определенный миг, когда трансляция сообщает, что самолет скоро произведет посадку на родине первых устных рассказов,

в позабытой Аравии[45], этот сидящий в соседнем кресле человек говорит, что отец на смертном одре поведал ему, как в былые времена веровал во многое, а под конец жизни разуверился во всем, кроме одного, единственного и окончательного — верить в вымысел, признаваемый в качестве такового, знать, что ничего другого не существует вовсе и что изысканность истины заключена в том, что ее считают вымыслом, но тем не менее верят в нее.

[45] Примечания: 45

Там, в этой Аравии, некогда именуемой «Счастливой», где, вероятно, и доныне можно отыскать самые первоначальные источники рассказа, чревовещатель — так, по крайней мере, пишет мой сосед в последних строках «Вальтера и его невзгод» — выступает как изустный повествователь, исполняя свою мечту побывать там, где возник самый первый в мире оригинальный рассказ, миф о Сотворении мира: «Я живу недалеко от Шевы, в четырех милях от Ханаана, где я каждый вечер буду рассказывать истории людям уважаемым и правоверным. Идеальная публика. Европейцы уже не слушают декламацию. Они беспокойно ерзают или задремывают. А вот здесь, вблизи Шевы, все, кто внимает мне, дослушивают до конца. Я постоянно повествую, обращаясь к людям с кривым кинжалом на поясе, символом воинственного духа, которые каждый вечер усаживаются передо мной тесным полукругом и с напряженным вниманием слушают мои рассказы. Порой мне кажется, что, рассказывая, я созидаю мир (*прим. автора*).

25

Я шел по улице Лондрес и был так глубоко погружен в свои неотвязные думы и, кроме того, так страдал от удушливой жары, что мне казалось: ни на этой улице, ни во всем городе нет никого. И потому, когда какой-то человек обратился ко мне, я был просто ошарашен. Да, это слово правильно определяет качество и степень удивления, свойственного обычно ребенку, если к этому возрасту он еще не признает существования людей, которые лишь похожи на него, но они — не он: людей, которые возникают однажды и внезапно, когда меньше всего ждешь этого и больше всего убежден, что ты такой один.

В основе того, что я говорю, находится нечто такое, чего я никогда не смогу объяснить здесь, но что считаю непреложным: никогда мне не приходилось сносить, чтобы в моем поле зрения появлялось существо, во всем подобное мне, но мною не являющееся, — иными словами, чтобы та же идея была заключена в ту же телесную оболочку, схожую с моей, но чужую: так вот, никогда не приходилось мне терпеть такого, ибо в такой

ситуации, пока еще не случавшейся, я испытал бы, по выражению Гомбровича, «мучительное раздвоение». Мучительное, потому что я превращаюсь в существо, лишенное всяких границ, непредсказуемое для меня самого, умножающее все мои возможности некой силой — странной, свежей, но тем не менее неотличимой от моей собственной, которая внезапно приближается ко мне, как будто я сам приближаюсь к себе извне.

И сегодня я шел по улице Лондрес и был так глубоко — даже глубже, чем обычно — погружен в себя, что даже взгляд мой был застлан какой-то пеленой, отчего я должен был пошире открыть и протереть глаза, чтобы увидеть, кто же это загородил мне дорогу и с улыбкой заговорил со мной. Это оказался человек лет пятидесяти, с живыми глазами, со светлыми волосами, курчавыми как у Харпо Маркса[46], одетый, смело можно сказать, в рубище. Он, как бывает во сне, тащил за собой тележку из супермаркета, нагруженную самым разнообразным барахлом, сложенным, а верней, сваленным как попало в виде башни, которую венчала палка от швабры, заменявшая древко

[46] Примечания: 46

Харпо («Арфа») — прозвище *Адольфа Артура Маркса* (1888–1964) — американского актера-комика, участника комедийной труппы «Братья Маркс». Частью его сценического образа был курчавый рыжий парик.

знамени, оно, надо думать, осеняло некий новоиспеченный союз нищих этого района.

Фернандо Пессоа говорил, что одни правят миром, а другие и есть мир. Бродяга — я буду называть его Харпо — явно относился ко второй категории.

— Голова с утра трещит, потому и встал поздно, — сказал он мне, словно знал всю жизнь, — теперь вот опаздываю.

Я так поразился этой фамильярности, что даже спросил себя, не знакомы ли мы, не шлялись ли мы с ним в молодые годы по кабакам.

Кроме этой манеры обращения, меня несказанно удивило и то, что я нахожу совершенно нормальным, когда ко мне обращается мертвец, вселившийся ко мне в голову, а когда со мной вдруг приветливо заговорил этот бродяга, я вдруг встревожился. Да, прямо сказать, не встревожился, а перепугался. Потому что, кроме нас двоих, на улице не было ни души, и в радиусе пятисот метров не нашлось бы никого, кто мог бы засвидетельствовать вероятное развитие событий и предвидеть, чем кончится просьба подать милостыню — ибо, как я понял, это была именно она, просьба — что подтверждалось рукой, протянутой за подаянием, пусть даже рука эта

принадлежала человеку, мучимому похмельем и имевшему, не исключено, и иные намерения.

— Не выспался? — спросил я, стараясь не выказывать страха.

— Не выспался, а засыпался.

Мне показалось, что он не лишен чувства юмора. Но я подумал, что лучше всего будет дать ему что-нибудь поскорее. Порывшись в кармане, обнаружил монетку в два евро и немедленно вручил ему. А он так же споро принял ее. Я еще пошарил, выудил еще пять монеток достоинством помельче и протянул их бродяге. Однако эту вторую лепту он решительно отверг, отреагировав как вампир на связку чеснока.

— Нет, пожалуйста, не надо, — почти взмолился он.

Да в самом ли деле он просил у меня милостыню, засомневался я. И предпринял еще одну попытку всучить ему вспомоществование, воспринятую им с еще большим ужасом. Я не понимал, что происходит, но счел за благо удалиться от греха подальше и идти своей дорогой. В пустыне не надо останавливаться, чтобы разговаривать с незнакомыми, припомнилось мне. Однако, прежде чем двинуться дальше, я оглядел его внимательно, как будто взгляд мой был спо-

собен дать пищу уму и минутное размышление позволило бы укрепить мою шаткую власть над увиденным. Но тотчас, почти не теряя времени, продолжил путь. Когда бродяга остался позади, слуха моего коснулись повторенные им слова:

— Нет, пожалуйста, не надо.

Спустя два часа на улицах появилось что-то еще, кроме воздуха, там и тут показались прохожие, готовые в случае чего стать свидетелями. Я устал, потому что все это время кружил по улицам, заходя то в один, то в другой бар, бессознательно двигаясь по кругу и не покидая самых монотонных участков квартала Койот, снова и снова оказываясь на том или ином отрезке улицы Лондрес. И это движение напомнило мне другое, о котором часто говорил мне приятель, уверявший, будто любая дорога, даже на Энтепфуль, приведет тебя на край света, однако дорога из Энтепфуля, если пройдешь ее до конца, в Энтепфуль тебя и вернет.

И я от этого чувствовал, что мне не вырваться из замкнутого круга, оказавшись в центре квартала Койот и одновременно на краю света, хоть и знал, что сколько бы ни странствовал до самых границ Земли, все равно буду возвращаться на улицу Лондрес. И честно признаюсь: я прекрасно чув-

ствовал себя, фиксируя на бумаге все достижения или незамысловатые подробности, от того, быть может, что был погружен в такой род банальной деятельности, которую описывают обычно мои любимые дневники. И потому, покуда я шел, и довольно долго, я был занят поисками незначащих событий. И у меня даже создалось впечатление, будто этими поисками я бунтую против клерков Бюро корректировки, которые, конечно, могут быть персонажами воображаемыми, но не исключено, что и, совсем наоборот, вполне реальными, так что в этом случае я совершил бы ошибку, попытавшись изгладить их из памяти. А что, если эти клерки не столь блистательны, рьяны и решительны, как мне представляется, но зато, несомненно, существуют и работают без передышки и движутся в атмосфере серости? Разумеется, это не помешает им изменить одной строчкой нашу жизнь.

Я только что в бессчетный раз прошел по улице Лондрес, теперь уже, пожалуй, выпив лишнего, и как раз спрашиваю себя, почему не назвали Итакой этот путь, на который я неизменно возвращаюсь, как вдруг заметил впереди впечатляющий бритый затылок санчесова племянника. Нет, это невозможно! Вот он — снова передо

мной, ненавистный ненавистник. Стоило же мне столько времени нарезать круги по кварталу! Ужасный племянник шел впереди, столь же вальяжно, сколь и — он, видно, тоже принял свою порцию — шатко. Я решил проследить, где он живет или куда направляется или что делает и где работает — это если предположить, что он где-то работает. Я еще раздумывал, окликнуть ли его или не стоит, как он вдруг резко остановился и буквально замер, застыл перед витриной какой-то лавчонки. А я, тщась явить проворство и спрятаться в подворотне, исполнил нечто вроде диковинного пируэта, то есть повернулся вокруг своей оси, а затем сделал два шага столь резких, что чудом не достиг результата обратного искомому и не оказался целиком в поле его зрения.

Когда же он наконец оторвал восторженный взгляд от витрины и двинулся дальше, я почти тотчас же поспешил узнать, что же привлекло его внимание. Оказалось, спортивные туфли. Я был обескуражен. Кроссовки! Разочарование приковало меня к месту, так что когда я вышел из столбняка, то подумал, что племянник уже, наверное, скрылся из виду. Однако, оглядев горизонт, я обнаружил, что племянник стоит буквально передо мной, глядит на меня, обес-

покоенный какой-то неотвязной думой, а когда наконец заговорил, то сообщил, что пытается понять, где он видел меня раньше.

Я не нашел ничего лучше, чем сообщить, что я тот самый журналист из газеты «Вангуардия», который хотел взять интервью у его дядюшки. Племянник всем телом подался вперед, навис надо мной и показался мне еще огромней, чем на самом деле. И надо признать, что в последний миг меня спас колокол, воображаемый, разумеется. Когда казалось, что хуже уже не бывает, меня осенило, и я — да, в последний момент — пригласил племянника выпить в «Тендер Бар», расположенный в двух шагах. Приглашение было принято немедленно и с необычайным воодушевлением. Судя по всему — а немного погодя, мое суждение подтвердилось — в кармане у него было пусто, а выпить, и выпить много, требовалось остро и неотложно.

Я, кстати, тоже был стеснен в средствах, потому что, простившись с мелочью, мог рассчитывать лишь на худосочную купюру в двадцать евро. Но все же это было кое-что по сравнению с племянником, который, как я ясно видел, был одним из тех, кто плывет по течению и ни к чему не прилагает усилий, хотя племянник, вероятно,

пребывал в постоянном трагедийном простое и, вероятно, не заслуживал, чтобы я воспринимал его именно так, как воспринимал — в качестве заурядного бездельника. Помимо этого, сокращая несокращаемые дистанции, скажу, что у нас с ним есть кое-что общее: я ведь тоже не работаю, но все же мое безделье несколько иное: его можно счесть активным, потому что я, благодаря этому дневнику, прохожу начальный курс писательского ремесла.

— Господи боже, чем дальше в лес, тем больше дров, — сказал он.

— Ты о чем?

— О том, что за сведения о моем дядюшке мне платят все больше и больше.

Я все понял. Он прежде всего был жулик, и жулик предусмотрительный. Меня не слишком это беспокоило, скорей напротив — кое-какие двери открывались передо мной благодаря его говорливости. Но о чем же говорить? Да уж не о дядюшке: он слишком враждебно относился к Санчесу и был чудовищно предубежден и пристрастен, однако первый рассказ в «Вальтере и его мытарствах» назывался «У меня есть враг» и, если не ошибаюсь, изложенная там история, где фигурировал некий Педро, бескорыстный ненавистник

чревовещателя, сгинувший впоследствии где-то в южных морях, кое в чем походила на ту, которую племянник, сам того, разумеется, не зная, выкладывал по всему кварталу перед каждым, кто хотел слушать. Можно было бы, разумеется, спросить его, знал ли он о своем сходстве с бескорыстным врагом, которым обзавелся чревовещатель из первого рассказа этой столь далекой книги? И читал ли он ее?

Все эти мысли проносились в моей голове, когда, подняв голову, я встретился глазами с племянником, смотревшим на меня пристальней, чем раньше. Я только хотел осведомиться о причине такого внимания, но он перехватил инициативу и спросил, нельзя ли узнать, на что это я смотрю. Тогда, решив обратить племянника в собственного врага, я ответил, что изучаю, обстоятельно и вблизи, его необъяснимую ненависть.

Он улыбнулся, хоть и заметно обиделся, и лицо его стало совсем неприятным:

— Почему необъяснимую? И почему ненависть?

Я заказал выпить, а они все не несут, пояснил он, и он сейчас потребует искомое у бармена. Тогда я спросил, как его зовут. Юлиан, ответил он. Просто Юлиан? Юлиан, повторил он. Не имя, а

название месяца, благо дело в нем и происходило, но, смирившись, я принял ответ как должное.

Словно обратившись в частного сыщика, я незаметно протянул ему двадцатку. Готовлю интервью с вашим дядюшкой, сказал я, и хочу у вас узнать, читали ли вы рассказ Санчеса «У меня есть враг». Племянник попросил повторить, но помедленнее, и я повторил. Я не успел узнать, читал ли он этот рассказ, но зато понял, что истинный враг Санчеса — не кто иной, как сам Санчес.

— Потому что Санчес — тяжелый невротик, абсолютный эгоцентрик. Как говорится, таких эгоистов в кино показывать надо. Воплощение эгоцентризма, считающее, что весь мир должен вращаться вокруг него, ничего другого он не признает и не выносит. Из-за этого в обществе он — настоящее бедствие, потому что в обществе не все и не всегда согласны считать его звездой и кадить ему. Эгоцентрик на двести процентов. Он не видит ничего дальше десяти сантиметров от себя. И если есть ошибка, которую мы, люди, совершаем чаще всего, то это, конечно, убежденность, что в невротике есть что-то интересное — ничего подобного: на самом деле это несчастный человек, вечно зацикленный на себе, человек с гнилым

нутром, человек неблагодарный, умеющий пестовать и окучивать лишь негативную сторону своего критицизма, а предложить что-либо позитивное — нет, извините.

Похоже было, что Юлиан рисует автопортрет, но я промолчал. И попал в довольно глупое положение, когда он, покуда произносил все это, взял, даже не спросив разрешения, мой стакан с джин-тоником и отпил. Это вызвало у меня понятное отвращение, и я уж было собрался как минимум потребовать у него объяснений, но тут он сказал, что не станет устраивать мне интервью с дядюшкой, а почему не станет, не пояснил. И вообще это было похоже на уловку — видно, он хотел скрыть ту очевидную истину, что и не может свести меня с дядюшкой.

После второго стакана племянник вдруг сообщил, что поскольку он — лучший писатель в мире и обходится без покровителей, то сейчас в краткой и безупречной форме определит, что произошло с Санчесом. Если рассказать во всех подробностях историю его дяди, это будет обобщенный рассказ о том, как великий ум разжижается ленью, тоской, ужасом и постепенно гибнет, подобно тому, как брошенная в море вещица исчезает там, оставляя на поверхности

лишь нестойкую пену.

В последние месяцы, продолжал он, Санчес тешил себе надеждой на сходство с одним норвежским писателем, которого кое-кто из сбитых с толку критиков уподоблял Прусту. Дядюшку в публичных выступлениях спасали остатки достоинства и умение притворяться, но не более того. Однажды, когда они еще разговаривали, тот сказал, что возьмет себе хороший псевдоним и, посвятив себя критике, станет беспощадно искренним — по отношению прежде всего к собственному творчеству; да, он сказал, что выберет себе псевдоним и подвергнет собственные сочинения безжалостной критике. И это, сказал дядюшка, будут лучшие в мире разборы, ибо никто не знает его пороков и слабостей лучше, чем он сам… Он посулил это, но Юлиан тотчас охладил его самокритический пыл, заметив, что он, как любящий племянник, тоже знает все недостатки его творчества и, если угодно, готов немедленно указать на них, хотя лучше все же будет держать их при себе, потому что вреда от них может быть больше, чем пользы… Тогда мы разговаривали с ним в последний раз, докончил Юлиан.

Что ж, сказал я, ничего удивительного, что

больше вы с ним не увидитесь. Только это я и сказал и, не желая напоминать о потраченной им двадцатке, а стало быть, и платить по счету, сделал вид, что получил эсэмэску (я использовал английский термин, чтобы проверить, могу ли я хоть чем-нибудь произвести на него впечатление), а значит, убегаю.

Он замер на полуслове. Я же подошел к кассе, где меня довольно хорошо знали, и сообщил, что за все заказанное до этой минуты расплачусь завтра.

— А если этот оборванец спросит еще что-нибудь подать? — осведомился один из двоих праздных официантов.

— Я бы на вашем месте этого не делал, мистер.

Ответ я дал в стиле вестерна, наиболее подходящем к человеку, прозывающемуся Мак, который обрел свое имя в салуне на Дальнем Западе.

И скорым шагом удалился. Теперь, проведав, что злейший враг Санчеса — это сам Санчес, я мог начинать думать о повторении «Вальтера и его мытарств».

Я удалялся так поспешно, что впору было подумать — клиент удрал, не заплатив. В пешеходной зоне я поравнялся с нищим, который обычно сидел на углу улиц Парис и Мунтанер. Я узнал его

так легко, что даже сам удивился. Он выглядел как самый обычный человек, когда возвращается со службы домой. Но я тут же понял, что это не совсем так, а верней сказать, как раз наоборот, ибо направлялся он к своему рабочему месту. Под мышкой нес плакатик, где, как мне показалось, было написано, что он голодает и что у него трое детей. Перехватив его ненавидящий взгляд, я подумал, что он сейчас попросит у меня денег. Я знал, что отвечать в этом случае: что моя последняя двадцатка осталась у другого нищего. Однако он ничего не сказал, а только оглядел с головы до ног. Я защитился, беззвучно произнеся некое заклинание, которому научил меня один приятель, большой специалист по парижским клошарам и друг многих из них: заклинание это я теперь обращаю к себе самому как нечто вроде тайной молитвы: «Родится или уже родился от нас тот, кто, не боясь ничего, ничего не захочет, кроме одного, чтобы не остаться без ничего, которым уже обладает».

Я сразу подумал о хасиде и его рубашке, а обгоняя на следующем светофоре попутчика, посредством плакатика возвещавшего, что голодает, спросил себя: а может быть, вот эти нищие, которые, похоже, сопровождают меня

весь день, — просто разные варианты собственного моего отражения в зеркале постоянного движения? Если так, ответил я себе, то не следует ли перебить их всех на светофорах, и тем предвосхитить свою собственную смерть или исчезновение?

На углу улиц Парис и Казанова я заметил — и, с учетом обстоятельств, почти не удивился — кучку потертых сорокалетних мужчин богемного вида, которые окружали Юлиана в нашу первую с ним встречу. Мне показалось, что они передают друг другу бутылки вина и больше похожи на *клошаров*, чем на богему. Выглядели они гораздо хуже, чем в первую нашу встречу. Неужели несколько недель оказались так разрушительны? Я хотел было сказать им, что злоязычного племянника они найдут в «Тендер Баре», но отвлекся на мысль о том, не началось ли в связи с тяжестью кризиса медленное внедрение нищих в квартал Койот? Или это проникновение непризнанных гениев?

&

Я просыпаюсь и встаю, чтобы записать запомнившийся обрывок сна, который хотелось бы продлить. Из открытых окон «Академии саксофона» доносятся томные звуки музыки, чу-

довищное гуденье дрожит в знойном городском пространстве. Оно вплетается в голос уличного певца: безудержная песня в ритме «бамба-ла бамба-бамба» всей мощью его легких долетает до самых границ квартала Койот. Все танцуют. И я подтверждаю, что квартал сильно похорошел бы, находись он в Нью-Йорке.

26

Если бы я переписывал рассказ «У меня есть враг», сюжет главным образом вертелся бы вокруг тех неприятностей, которые доставлял чревовещателю Вальтеру его эгоцентризм, что, без сомнения, мешало ему обзавестись другими голосами. Еще рассказал бы об исправительной колонии для эгоистов, недавно открывшейся рядом с его домом и регулярно сообщавшей ему хронику своих новостей, хотя ему так и не удалось сообразить, чем это может быть ему полезно.

И эпиграфом я поставил бы цитату не из Чивера, а из Фолкнера, которой Роберто Боланьо предварил свою книгу «Далекая звезда»: «Какая звезда падает незаметно для всех?»

До сих пор никому еще не удалось отыскать в книгах Фолкнера эту фразу, так что, может быть, это фальшивка, хотя все указывает на авторство Фолкнера, потому что специалисты по творчеству Боланьо утверждают, что тот не стал бы придумывать такое, тем паче для эпиграфа.

Точно так же, как мы спрашиваем, какую звезду мы имеем в виду, говоря, что она упала и

никто этого не заметил, полагаю, что мы вправе спросить, и о каком личном дневнике мы говорим, добавляя, что никто его не видел. Подобно тому, как падающая звезда нуждается в зрителе, парадоксальная нужда в читателе, без которого ненаписанные дневники не будут прочитаны, заставляет меня вообразить некую тетрадь, куда некто будет день за днем заносить мысли и события, не претендуя на то, что кто-нибудь прочтет ее, хотя дневник обретет собственное бытие и взбунтуется против запрограммированного отсутствия читателя, и мало-помалу потребует ни больше ни меньше как прочтения, чтобы таким образом избежать уготованной ему судьбы стать невидимой падающей звездой.

Неизвестно почему, я вдруг вспомнил, что четыре дня назад уже думал насчет этой фальшивой *посмертной* книги (в свою очередь, оборванной фальшивой же смертью), книги, которую на самом деле мысленно не терял из виду с тех пор, как начал вести дневник.

Едва успев начать записывать, я прервался, имитируя перерыв, каковой на самом деле заключался в том, что я откупорил очередную — и, кстати, последнюю из моих запасов — бутылку «Веги-Сицилии» и отметил возвращение к

идее искусственного и жульнического создания книги, долженствующей числиться в разделе «посмертные и неоконченные произведения».

Разве не в первую очередь я подумал об этом, затевая свой дневник, а также и о том, что со временем придется вспомнить о персонаже Уэйфилда и испытать насущную потребность в том, чтобы Кармен — или еще кто — должна была бы наконец признать существование дневника? Порою, хоть для достижения этого требуется наше отсутствие, мы боремся за нечто основополагающее и вместе с тем очень простое и прилагаем все усилия, чтобы, по крайней мере, удостоиться подтверждения того, что существуем.

После этого я вернулся в кабинет и к тем страницам, которые почти месяц назад начал писать, не зная, куда они идут и чем заполню их, и тут вдруг некая тема обозначила на них свое присутствие, причем так четко, что казалось, этим она указывает, что лишь она одна ждет встречи со мной. Она возникла даже раньше, чем я ожидал, однажды в солнечное утро, когда я слушал «Наталию», венесуэльский вальс, который мне никогда не надоедает слушать. Музыкальная тема повторялась, и я вскоре погрузился в нее, особенно ясно понимая, как важно здесь повторение, где звуки

или их чередования звучат снова и снова, где никто не оспаривает значимость этого, если оно уравновешено начальной темой с вариациями.

Очень скоро я погрузился и в повторение, и доказательство этого: то, что начал обдумывать, как бы преобразовать и улучшить роман моего соседа, роман незначительный и путаный, полный забытыми шумом и яростью, роман, который, однако, я намеревался изучить неспешно и тщательно, ибо, по моему мнению, именно это требуется во исполнение моего замысла рано или поздно что-то в нем изменить. Если когда-нибудь все же перепишу «У меня есть враг», то прежде всего в эпиграфе заменю цитату из Чивера на что-нибудь такое фолкнеровское, благодаря чему роман не только исполнит во времени тридцатилетнее тройное сальто-мортале, но и избавит нас от ощущения, будто автору не случалось обогатиться опытом того рода, который представлен гениальной литературой вроде творений Боланьо.

Однако для меня ясно, что этот эпиграф из Фолкнера не должен иметь отношения к тому, о чем рассказывается в рассказе «У меня есть враг», потому как нельзя забывать, что я всегда жаждал развеять миф о якобы трансцендентной природе

эпиграфов и выработать стиль, подобный, ну, скажем, Альберто Савинио, начавшего свой роман «Мопассан и другой» с фразы Ницше: «Мопассан, истинный римлянин».

«Мопассан, истинный римлянин», повторяю я сейчас самому себе, только ради удовольствия произносить эти слова. Сколько раз я возвращался к этой фразе и все время она звучала по-разному, сколько ни повторяй ее. Я вижу, как определение Ницше освещает фигуру Мопассана, однако, как замечает Савинио в подстрочном примечании, освещает ее абсурдом, освещает тем полнее и ярче, чем меньше мы знаем, что же хотел сказать этим Ницше, назвав Мопассана «римлянином», и совсем не исключено, что, как часто бывало с ним, он ничего не хотел сказать этим.

Поэтому, решив переписать «У меня есть враг», я и выбрал эпиграф из Фолкнера затем, чтобы эта цитата была никак не связана с сюжетом, чтобы одиноко и вольно парила в собственном воздушном пространстве, в безмерности разъединения, как самолет-призрак в небе Чили.

Ну а что касается того, что я бы сохранил, то для меня это ясно: каркас истории о ненавистнике, одержимом желанием причинить как можно

больше зла объекту своей ненависти — эта история забавно похожа на отношение Юлиана к своему дядюшке — а еще бы оставил тоскливое стремление бросить пить, снедающее обладателя того голоса, в рассказе Санчеса, довольно похоже имитирующего стиль Джона Чивера. Да, вот это я бы сохранил, но одновременно изменил бы личность самого Вальтера, который обрел бы в собственной душе и в своем разнузданном себялюбии своего второго врага. И как раз первый враг — он будет носить имя Педро, как и в оригинале — упрекал бы его за то, что в силу своего эгоцентричного характера он всегда говорит о самом себе и потому прямо виноват, что не может наделить голосами своих кукол. А прообразом этого первого врага по имени Педро мне послужил бы Юлиан, который, как я заметил, обуян запредельным эгоизмом и спесью, а если и проявляет время от времени талант, то все же остается классическим безумцем, бичующим окружающих за собственные, собственно говоря, пороки.

Если бы когда-нибудь я все же переделал бы «У меня есть враг», то поговорил о той ночи, когда чревовещатель решил проблему единственности своего голоса, осознав наконец, что именно по-

стоянные нападки его ненавистника загоняли его в угол и тем самым заставляли укреплять и усиливать свой единственный голос, подтверждая его мощь всем, что он развивал в своей сценической деятельности, а равно и в частной жизни, и тем самым с каждым днем все чаще рокируясь в сражении против своего ненавистника.

В один прекрасный вечер вопрос решился. Сходка подонков общества. И после запрещенного приема Педро в приходской лотерее выиграл круиз по Тихому океану. Педро уехал. А Вальтер увидел, что его тактика оборонительного эгоцентризма уже не так действенна. А раз она не так уж необходима для защиты, он расслабился и стал освобождаться от себя самого, от своего убогого единственного голоса, от «собственного голоса, столь вожделенного всем, а особенно — романистам», превращаясь в обиталище нескольких голосов, которым и поручил рассказать девять оставшихся историй.

Таким манером Вальтеру я бы дал личность, которой, как мне представлялось, обладал Санчес, а его врагу Педро — склочное и, в сущности, жалкое бытие Юлиана.

В финале рассказа «У меня есть враг» Вальтер будет очень доволен тем, что стал чревовеща-

телем на постоянной основе и просто счастлив, что в нем теперь, кроме него самого, есть еще несколько личностей. Вальтер будет некоей помесью Санчеса и Юлиана с вкраплением отдельных черточек моей скромной и смиренной персоны, а также — твердого и неутомимого нрава кое-каких его кукол. Вальтер будет носить пиджаки с подложенными плечами, белую сорочку (чтобы сбежать, как захочется) и держать в руке бамбуковую трость, куда будет спрятан «яванский зонтик».

Однако все это станет видно лишь к финалу первого рассказа, потому что в начале второго, получившего название «Поединок гримас», в моем Вальтере не будет уже и следа тех разнообразных человеческих тканей, из которых составлена его личность.

Я представил себе стиль, в котором будет начинаться этот переделанный мною рассказ:

«Подумайте о чревовещателе. Он владеет искусством говорить так, что кажется, будто голос исходит от кого-то другого, стоящего на известном расстоянии от него. Однако не попади он в наше поле зрения, его искусство не доставило бы нам никакого удовольствия. И, стало быть, потому его очарование заключается в том, что

он одновременно присутствует и отсутствует; он становится особенно и именно самим собой, когда одновременно он — кто-то другой. А едва лишь опустится занавес он — не тот и не другой. Последуем же за ним теперь, когда в одиночестве идет он в глубокой ночи, и ни один из двоих не отстал, и, значит, есть кто-то третий, неведомый нам, но тот, о котором мы хотели бы знать, куда направляет он свои стопы. Однако из-за бороды, ирландской кепки и темных очков да еще и в полумраке трудно разглядеть лицо этого существа, разъятого на части...»

[ОСКОП 26]

По чистой случайности — на самом деле мы говорим «чистая случайность», когда не знаем, как это могло случиться, однако подозреваем, что тут не обошлось без Бюро корректировки, оставшегося в тени, или есть и другое, более убедительное объяснение, которое тем не менее мы принять не согласны — итак, по чистой случайности под вечер, читая «Саму» Антонио ди Бенедетто[47], я наткнулся на фразу, заставляющую думать, что

[47] Примечания: 47

Антонио Ди Бенедетто (*исп.* Antonio Di Benedetto, 1922–1986) — аргентинский писатель и журналист.

Боланьо читал и, быть может, даже очень внимательно и неоднократно читал Фолкнера, потому что сходство удивительное:

«Был тот тайный час, когда небо блещет сильней, потому что люди спят и никто не смотрит на него».

27

Утром, воспользовавшись тем, что небо затянуто облаками, я совершил приятную прогулку по Койоту. Присовокупил к ней покупку утренних газет, похихикал с киоскершей (в то утро она была особенно весела и игрива), приветствовал хозяина закусочной и владельца «Карсона», приобрел пять яблок в лавочке экологически чистых продуктов, повстречался с пенсионерами-завсегдатаями бара «Тендер». Словом, это был триумф обыденных событий, которые так легко ложатся на страницы дневника. Обыденные события — это именно то, в чем я нуждаюсь хотя бы время от времени, тем паче что они лишь кажутся обыденными и позволяют дневнику проглотить этот роман, так упорно подстерегающий меня во тьме сельвы, которая, как мне иногда кажется, подступает к самому дому.

Светло-серое небо с синеватыми тенями под каждым облаком. Велосипед с поврежденным передним колесом. Торжество обыденных подробностей. Ролан Барт сказал как-то, что для любого личного дневника возможен только один

успех — пережить битву, хоть это и будет означать отдаление от мира. Алан Паульс[48]: «Любой дневник — это буквальное воплощение зомби, живого мертвеца, существа, видевшего все и все пережившего, чтобы рассказать об этом».

Поскольку большинство испытанных временем клиентов «Тендер Бара» — в иной день их бывает человек пять, а в иной набирается и семеро — курят непрестанно, то весьма вероятно, что они желают повстречать смерть именно на этой тропе. Как правило, самым говорливым оказывается Дарио, морской инженер, давным-давно ушедший на покой, и, вопреки обыкновению, сегодня у него изо рта не торчит сигара. С ним я знаком лучше, нежели с остальными, что и позволило мне под каким-то предлогом подсесть в то утро к этой компании. Дарио рассуждал о своей летней простуде, сообщая, что это пустяки, ничего серьезного, однако она его угнетает, потому что в июле не должно быть насморка, а тут еще и температура да и кашель, и все это лишает его душевного равновесия… Я подумал было, что он мучается без сигары, и собирался сказать ему об этом, но потом решил, что это будет некстати

[48] Примечания: 48

Алан Паульс (*исп.* Alan Pauls, 1959) — современный аргентинский писатель и сценарист.

и лучше не вылезать. Тем не менее в возникшей вскоре паузе решил произнести еще более рискованную фразу и — что-то помешало мне избежать этого — вопросил их, чего бы каждый из них пожелал, если бы знал, что желание может быть исполнено. Никто из них и ухом не повел: одни притворились, что не слышат, другие и вправду не расслышали, ибо от присутствия в их компании постороннего их обуяла особого вида глухота, смешанная с безразличием. Один Дарио захотел что-то ответить и после нескольких слов, столь невнятных, что теперь уже я их толком не расслышал, сказал, что если бы мог делать, что хочет, то дошел бы до центра земли и нарыл рубинов и золота, а потом пустился бы на поиски приключений и постарался бы найти каких-нибудь настоящих чудовищ.

В его мечтании было немного от того таинственного бродяги из хасидской легенды, но было и что-то детское, и меня рассмешило, что он говорит о чудовищах, ибо на самом деле ради этого вовсе незачем спускаться к центру земли — чудовищами были все присутствующие.

Мимо нас, как дуновение, пронеслась Ана Тёрнер. Она прогуливала собачку, а та, натягивая поводок, безбожно тянула ее вперед, так что хо-

зяйка едва не падала. Я только что выполнила секретное задание, сказала Ана с лукавой улыбкой. Я не ожидал ее появления и продал бы душу дьяволу, чтобы в этот миг стать невидимым, лишь бы только она не подумала, что на самом деле я такой же замшелый старый пень, как эти пенсионеры, отчего и сижу с ними.

Немного погодя, когда я, уже собираясь проститься со своими сотрапезниками, очень рассеянно оглядывал залитую солнцем перспективу улицы Лондрес, я вдруг испытал нечто вроде галлюцинации и на несколько секунд увидел на противоположном тротуаре Санчеса и Кармен. Они не держались за руки, но так казалось. Я был так потрясен, что невольно отвел глаза. Однако через мгновение снова взглянул и убедился, что на другой стороне улицы нет ни души.

Надо ли обращаться к врачу из-за одной галлюцинации? — ломал я голову. Санчес и Кармен — всего лишь полдневные призраки? Быть может, все это — лишь проекция моих страхов, привидевшаяся мне потому, что сошлись воедино чувства, которые уже несколько дней бурлили во мне: недоверие к Кармен перемешалось с любовными интригами из дневника чревовещателя, в последнее время составлявшими круг

моего чтения.

Дарио, заметив, наверное, что я оцепенел, спросил, что случилось. Да ничего, ответил я, увидел там впереди кое-что, а теперь не вижу. Я поднялся и, хотя беспокойство мое по поводу только что увиденного никуда не делось, все же предался наблюдениям за легким поединком гримас, начавшимся среди пенсионеров из-за моего поползновения уйти. Подумал ли я о том, чтобы превратить эту мимическую битву в часть «Поединка гримас», который тоже предполагал когда-нибудь переписать? Тотчас вслед за тем осознал, что делать этого я не должен ни в коем случае. Есть кое-что такое, что понимаешь очень быстро, еще в процессе вынашивания и обдумывания, и сейчас мне было ослепительно ясно, как никогда в жизни: то обстоятельство, что сюжет рассказа «У меня есть враг» показался мне взятым из самой жизни — племянник Санчеса питает к нему просто звериную ненависть и поносит на все корки — вовсе не значит, что сюжеты остальных девяти глав, которые я тоже собираюсь переписать, должны походить на события, случающиеся в моем реальном мире.

Подумав об этом и о том, так и не уняв беспокойство и не сумев скрыть его, я распрощался с

пенсионерами, перешел улицу, свернул за угол и, как если бы привидевшееся мне происходило в действительности, поискал Кармен и ее спутника на улице Урхелль и никого там, разумеется, не нашел, кроме солнца, заливавшего тротуары. Пошел дальше, и на последнем перекрестке ко мне пристроился нищий, который был прекрасно одет, если не считать южной оконечности его брюк, свисавших на огромные растоптанные башмаки, будто взятые напрокат из фильма Чарли Чаплина — они одни указывали, что их обладатель побирается как положено. Это, конечно, был нищий новой волны: в Барселоне уже появилось несколько таких. Они носят дорогую одежду и не смущаются несоответствием. Побираются очень вежливо и профессионально, и стиль их, конечно, сильно отличается от исторически сложившейся манеры просить милостыню. Нищий в непомерных башмаках прежде всего сообщил, что уже много лет определяет здоровье как некую способность жить полной жизнью, каковой способности он лишен уже давно. Я дал ему монету, хотя на нем была рубашка в цветочек, и сочувствия он не вызывал, ну ни малейшего. И я не раскаялся в том, пусть бы он даже был ряженым, — что он одурачил меня своими трюками.

Более того, глядя, как он удаляется, я восхитился его походкой, невольно обращающей всеобщее внимание на эти башмаки, будто взятые из театрального реквизита и, конечно, вкупе с даром слова служили основой его уникального метода зарабатывать деньги своим талантом и, что не менее важно, с таким достоинством и уверенностью в себе.

Дома, где благодаря кондиционеру воздух был почти ледяной, я попытался отделаться от фантасмагорического видения Кармен и Санчеса на другой стороне улицы и после долгих поисков нашел наконец способ, пусть не очень прочный, но любопытный, убить время и избыть свои тревоги и нырнул в воспоминания о лучших часах неопределенности, в которые на протяжении многих лет бывал вовлечен.

А потом задумался о «Могиле, не дарующей покой» Сирила Коннолли, где автор весьма умно размышляет, как вести себя в сомнениях. Впервые я прочел эту книгу, когда работал помощником у сеньора Гавальда — его адвокатская контора стала моей первой службой. Служба была так себе: открывать двери разнообразным клиентам и годами бегать по коридорам, подавая кофе и сахар необходительному начальству. По

счастью, я незаметно поглаживал книгу сомнений Коннолли, лежавшую в правом кармане, и это давало мне силы и дальше открывать двери в качестве юного и бедного адвоката-гарсона. В те дни, я еще ни в кого даже не успел влюбиться, как никогда подходило мне имя Мак.

Ах, как это здорово сказано у Коннолли: «Вот нам показалось, что встретили на улице знакомого. Вскоре поняли, что ошиблись, однако уже через мгновение буквально натыкаемся на него. Это предвидение отмечает тот миг, когда мы входим в длину волны, оказываемся в ее магнитной орбите».

Сколько ни пытаюсь, а все не могу понять, как забыть мне сегодняшний полдень, когда, покинув пенсионеров и свернув за угол, я следовал за тенью Кармен и встретил ее во плоти на улице Буэнос-Айреса с хозяйственной сумкой в руке. Дальнейшее заняло доли секунды.

— Ты одна? — спросил я.

Она удивилась несказанно:

— Ты что, спятил?

28

Кармен отправилась в кино, я же предпочел остаться дома. И с этого момента воскресенье принялось нагонять на меня такую тоску, что я мысленно напялил на себя белый халат и стал воображать себя дежурным врачом в провинциальной больнице. Из тоски я вышел с еще большей тоской, вспоминая стихи, написанные в воскресенье Луисом Пиментелем, врачом и поэтом из Луго: «Здесь в одиночестве // в белом халате // здесь остаюсь я, тихий и робкий. // День без событий // Бетон прикоснется // ледяными губами // Ангел мертвый траву попирает// Проходит доктор // Монахиня следом // В хлопчатом свете всплыл оперблок».

Этот оперблок начал всплывать и в моем воображении, в полнейшем воскресном одиночестве, и мне ничего не оставалось, как выйти из дому и прогуляться по Койоту, безлюдному в эти часы.

Благословенные тишина и покой. Никакого шума на улице. Воскресенье: все сидят по домам, дремлют, играют, совокупляются, мечтают, но на самом деле большинство мается и скучает, ибо

воскресенье порождает пустоту — вечную нашу погибель.

А вот тихая улица греет душу. Я решил пойти к Кальгари и дождаться, когда Кармен выйдет из кино. И направился было, но в какую-то долю секунды все изменилось разительно. Передо мной затормозил «Бьюик», из которого вышел сидевший рядом с водителем молодой человек. Длинный нос, белые сорочка и брюки. Точнее говоря, не вышел, а буквально вылетел из машины. Он явно и сильно нервничал, и на свой вопрос, отчего нервничаю я, ответа не получил именно потому, что нервничал. Я особо отметил его бледность и опять же на долю секунды мне показалось, что это неожиданная копия врача в белом халате из стихотворения. До такой степени он был похож, что я спросил себя: зачем меня понесло на улицу, если дома в стихотворении я видел то же самое, что увидел перед собой сейчас. Но тотчас я понял, что этот субъект совсем не похож на моего врача в белом халате, а похож скорее на молодого человека, совершающего странные поступки и очень странно переставляющего ноги. Рядом с пряжкой его преувеличенно элегантного ремня висела какая-то черная сумочка вроде кобуры, и он опять же как-то причудливо шарил

по ней, словно бы собираясь открыть и словно бы желая, чтобы я подумал, будто там, скорее всего, пистолет. И тут опять же вдруг я вполне отчетливо пистолет и увидел.

На секунду меня обуяло метафизическое сомнение. Если вся эта ситуация была всего лишь неконтролируемым следствием одного стихотворения, внезапно и неприятно обретшим бытие, тогда ладно, нечего пугаться. Но если нет, то ясно, что заезжий тип с выдающимся носом спутал меня с кем-то, и тогда мне лучше будет удрать, может быть, укрыться в одной из биллиардных, благо они по воскресеньям открыты, рядом с парикмахерской сеньора Пьера — она совсем рядом. А еще лучше, подумал я, броситься за угол и бегом подняться по лестницам, ведущим на первый уровень ресторана «Шанхай», где мне, без сомнения, помогут спрятаться.

Диковато, конечно, звучит, но в подобных ситуациях я способен отвлечься и спросить себя, не осталось ли у меня с адвокатских времен какого-нибудь врага, жаждущего мести, и даже осведомиться, за каким дьяволом вспомнился мне стишок про белый халат, причем у меня хватает хладнокровия задаться вопросом, зачем я вышел на улицу, если известно, что такая мирная

тишина очень часто кончается своей полной противоположностью — громом, шумом и ужасом. Отвлечься, однако, удалось мне лишь на краткий срок, ибо события стали набирать обороты, и вот уже молодой человек в белом решительно двинулся ко мне. И я уже счел себя покойником, когда в последнюю секунду этот громила слегка изменил траекторию и прошел мимо. То есть оставил меня у себя в глубоком тылу, показал, что ему нет до меня никакого дела так наглядно, что мне даже стало обидно, и пустился вдогонку за долговязым колумбийцем, которого в квартале Койот мы все знали, потому что он торговал гаванскими сигарами, «только что доставленными с Кубы», причем иногда предлагал свой товар в таком, я бы сказал, абордажном стиле, что становилось не по себе.

Так или иначе, я, уподобясь прочим прохожим, почувствовал желание узнать, чем кончится погоня, и повлекся к тем, кто осмотрительно следил за происходящим издали — кончилось же все так, что хуже и не бывает и не укладывается не только в рамки литературного жанра, но и не лезет ни в какие ворота. Кончилось хлестким приемом карате и падением колумбийца, падением неудачным, потому что он ударился головой

о ребро тротуара и остался недвижим. Умер? Нападавший, не выказав интереса к гаванским сигарам своей жертвы, обернулся, чтобы узнать, что творится у него за спиной, потом вдруг замер на краткий миг, и грозный взгляд, которым он окинул любопытствующих, позволил мне снова отрешиться, пусть хоть на секунду, и отметить, что этот молодой человек может показаться стариком, потому что на кончике носа у него имелось нечто напоминающее формой белую луковицу, которая как будто имела целью простодушно гармонировать с белизной его рубашки.

Как обычно оно бывает в реальной жизни — и как ясно я сознаю теперь, в этом дневнике — происшествия, сколь бы катастрофичны ни были, приходят и уходят, без особенно крутых поворотов. Тем лучше, поскольку это позволяет мне в своем дневнике не уподобляться кое-каким романистам, оскорбляющим ум читателя тем, что уснащают свое повествование помпезными эпизодами: устраивают пожары или, скажем, заставляют героев убивать друг друга, или позволяют выиграть в лотерею самого убогому из персонажей, или топят в морской пучине того, кто переживает счастливейший день своего бытия, или сбрасывают его с двенадцатого этажа,

или оглашают семью выстрелами райскую тишь воскресного дня…

С другой стороны, романы иногда чересчур драматизируют события, которые в реальности выглядят обыденно или незначительно, события, которые то возникают, то исчезают, то накладываются, то наталкиваются друг на друга, то, подобно кружащим в поднебесье облакам, чередуются беспрерывно, хотя ветер порой, разнося их в разные стороны, и делает обманчивые перерывы в этом движении, но по-настоящему прервать его не может, ибо время — а никто так и не понял его природу — не останавливается никогда. Этот свойственный романам «порок» — еще одна причина того, что я решительно предпочитаю им рассказы. И, хотя мне встречались иногда и хорошие романы, я не переменю свое мнение по отношению к ним, потому что романы, которые мне нравятся, всегда напоминают китайскую головоломку и всегда состоят из рассказов.

Сборники рассказов — они могут быть очень похожи на личный дневник, потому что дни в них неотличимы от глав, а главы в свою очередь — от фрагментов повествования — просто идеальны, благодаря своей краткости и насыщенности, которых они же сами и требуют, они

теснее связаны с реальностью, чем романы, постоянно вдающиеся в ненужные подробности.

Для меня это в порядке вещей — оказавшись в гуще яркого инцидента, где участвовали юноша с замысловатой пряжкой на поясе и колумбиец, возможно, ныне покойный, я все же сумел абстрагироваться и поразмышлять ни больше ни меньше, как о жанровой напряженности между рассказом и романом, которую отразил в своем дневнике. Ничего необычайного не было для меня и в том, что, несмотря на кажущуюся значительность этого уличного эпизода, он быстро начал терять свою важность, так что, когда приехала «Скорая помощь», я уже почти позабыл о случившемся, доказательством чему служит то, что я очень спокойно развернулся и вернулся домой как ни в чем не бывало. Там я нашел Кармен, только что пришедшую из кино, где, можно не сомневаться, ей не показывали такого «экшена», как мне, прогуливавшемуся по кварталу Койот. Я, идиот, не заметил по выражению лица, что она в высшей степени не в духе. Если бы заметил, то не стал бы спрашивать, не очень ли она страдала от жары, да и вообще ни о чем, ибо принял бы в расчет, как злобно реагирует она, будучи не в настроении, на какой бы то ни было вопрос.

Последовали исполненный неистовой ярости ответ и требование объяснить, почему это моя рубашка насквозь мокрая от пота. Жизнь свою спасал, объяснил я. И рассказал о преследовании, об ударе карате, возможно, смертельном.

— Так дальше продолжаться не может, — властно оборвала она меня.

И начала говорить, что с каждым днем я все больше бездельничаю — как будто в очередной раз решила проигнорировать, что я веду этот дневник и как будто мое присутствие при вероятном смертоубийстве доказывает мою тягу к праздности — и спросила, что я делал утром и уточнила, что ее интересует, все ли время я околачивал груши. Я же подумал о том, сколько мимолетна влюбленность, и о том, как набирает она или теряет силу еще прежде, чем пропоет петух. Я околачивал все, за исключением груш, был мой ответ. И тарелки не полетели в меня лишь по чистой случайности или, вернее, потому что их не оказалось у Кармен под рукой.

Когда по прошествии известного времени страсти утихли, Кармен спросила, когда я смогу дать ей рубашку — она, мол, пришьет оторвавшуюся пуговицу. А я осведомился, имеется ли в виду рубашка, промокшая от пота. И в ходе нелепей-

шего спора, разгоравшегося все жарче и ярче — я несколько раз повторил, что все пуговицы у меня на месте — Кармен вдруг назвала меня Андером.

— Но, Андер!.. — сказала она.

А это было крестильное имя Санчеса.

И ослышаться я не мог.

Все вокруг словно замерло, и даже время как будто остановилось. Мне совершенно неожиданно были представлены доказательства того, что Кармен имеет обыкновение спорить с Санчесом, при этом обращаясь к нему по имени, что опровергало ее лживые слова о том, что она никогда с ним не видится, но и подтверждало: она спорит с ним так же, как со мной.

Однако она все отрицала, и это было самое странное. И не думала я называть тебя Андером, произнесла она, а потом уже стала повторять это беспрестанно, клянясь матерью и — вот это уж было лишнее — папой римским, который, уточнила она, поляк. Перед лицом такого мне мало что оставалось — разве что погрузиться в пучину сомнений и думать, что в самом деле ослышался, хотя знал наверняка, что все я распрекрасно расслышал.

В этот самый миг, вместе с ощущением, что воскресенье нынче совсем не задалось, осенило

меня постижение: сказано было именно то, что я услышал, и места сомнениям тут нет, ничего изменить я не могу, ибо что было, то было, и никак иначе не вспомнить мне то роковое мгновение, когда с ее уст сорвалось это «Но, Андер!».

Прекрасно помню все и даже то, как она по-особенному произнесла эти слова и осеклась, осознав свою ошибку. Однако предпочел согласиться и заверить ее, что в самом деле ослышался, а она, конечно, сказала что-то другое, созвучное. Однако это воскресенье еще не исчерпало свои ресурсы. Кармен взглянула на меня с нескрываемой досадой и ответила: «Ради бога, Мак, я ничего подобного не говорила». «Нет?» — переспросил я. «Нет», — сказала она таким ангельским голоском, что я от изумления потерял дар речи. «Ну, если в итоге окажется, что ты ничего не говорила…», — промямлил я. «Именно так, я не произнесла ни слова», — заверила меня Кармен с такой уверенностью, что будь она притворной, а иначе и быть не могло, ее следовало бы счесть настоящим шедевром.

29

Под вечер, еще не вполне оправившись от вчерашних потрясений, пошатываясь на подгибающихся ногах, я понес к портному пару брюк, которые были куплены в прошлом году, а теперь едва сходились на мне.

Несмотря на свои лишние четыре килограмма, я чувствовал себя таким слабым и хрупким, что казалось — ветер дунет, и меня унесет.

Портной был крайне любезен, однако в его маленькой мастерской имелась только одна кабинка для переодевания, а в ней он поставил не одно, а два зеркала, и крохотный табурет. Тесно там было, как в гробу. Мучаясь за занавеской, я чуть было не потерял равновесие, с трудом удержавшись на ногах и не разбив зеркало — или оба. Вслед за тем испугался, что умру в тот самый момент, когда пытался просунуть ногу в узкую брючину. А потом, когда был преодолен страх упасть, как раз когда умру, все пошло еще хуже: я почувствовал безмерное одиночество и, кроме того, несколько секунд не видел себя в зеркале.

Меня бросило в холодный пот — чем не до-

казательство, что я еще жив. Везучий я все же человек. По пути домой я вспомнил одну давнюю историю: некая дама бросила мужа и ушла к другому. А муж поставил в его саду статую своей обнаженной жены. Что это было: «месть в стиле Ренессанса» или просто она больше не представляла для него никакой ценности?

30

Все утро твердил себе, что нельзя терять ни минуты.

Во второй половине дня ничего особенно не изменилось. Снова навязчивое стремление не терять ни минуты, меж тем как теряются все до единой.

— Выйди на улицу, — сказал голос.

(Голос, исходящий от смерти).

Но я не хотел выходить. Мне внезапно отказало то самое противоречивое в природе художника, пусть даже неопытного, свойство зрения: выйдя на улицу, он должен воспринимать все, что видит там, словно ничего об этом не знает, а потом, вернувшись домой, переписать все это начисто, как будто знает об этом все.

Я словно в столбняке. И в довершение бед день как будто обуян шальной мыслью пролететь быстрей всех тех, которые я уже прожил в этом мире: не исключено, что такое замысловатое решение приняло Бюро корректировок.

Я видел, как над головой плывут, вернее, стремительно проносятся облака, но все равно не

мог решиться на какое-нибудь деяние и выбрать момент, чтобы начать двигаться, прежде чем наступит новый день. Кармен вошла в кабинет с предупреждением, что мы приближаемся к вечеру. Я выглянул в окно и убедился, что в самом деле уже смеркается, а я так ничего за целый день и не сделал: разве что ревновал, подозревал Кармен и падал духом.

Собравшись уже спать, вижу, что в этот понедельник единственная запись в дневнике должна была бы выглядеть так: «Смерть говорит с нами глубоким голосом, чтобы не сказать ничего, чтобы не сказать ничего…» Надо было бы прочесть это и потом написать сто раз, чтобы лечь спать, веря, что все же что-то написал сегодня. А потом — еще сто раз (отдавая должное паразиту повторения, таящемуся во всяком литературном творчестве): «Мы знаем гораздо меньше, чем думаем, что знаем, но всегда можем узнать больше, ибо всегда есть простор для учения».

— Чем ты занят, Мак? — почти кричит Кармен из гостиной.

Одной рукой зажав себе рот, другой я сдергиваю пижамные штаны, бросаю их в шкаф и остаюсь нагишом:

— Ничем не занят, любовь моя, продолжаю

повторять роман соседа.

И представляю при этом, как Санчес, тоже голый, лет сорок или несколько часов назад, — кто ж знает? — готовится перед Кармен, как я сейчас, к чему бы то ни было, но готовится.

31

Будь моя воля, я бы первым делом поменял в «Поединке гримас» эпиграф. Вместо цитаты из Джуны Барнс взял бы диалог из «Дистанции спасения» Саманты Швеблин:

«– Карла, сын — это на всю жизнь.

— Нет, милая, — говорит она. У нее длинные ногти и она показывает мне их, поднимая пальцы на уровень глаз».

Тогда эпиграф будет вполне соответствовать содержанию рассказа.

Аргентинская новеллистка Швеблин уверена, что необязательно видеть в безумии некий беспорядок, оттого, быть может, что в аномальном и таится самое здравомыслие. Саманта восхищается Кортасаром, Бьой Касаресом и Антонио Ди Бенедетто как авторами рассказов, и я полагаю, что в их творчестве берет начало путь, по которому движется написанное ею, ибо эти трое — лучшие из создателей такого рода литературы, скользящей над серыми и беспокойными мирами повседневности и кем-то названной «литературой разочарования». Я никогда не забуду,

Ди Бенедетто и его старую пристань: «Так и мы: были и готовы и не готовы плыть».

Швеблин стремится к тому, чтобы многое из ее рассказов происходило в душе читателя. И если однажды я все же возьмусь переписать «Поединок гримас», то непременно постараюсь добиться того же эффекта, по крайней мере, попытаюсь. Хотя есть и другие писатели, именно так взаимодействующие со своими читателями, я все же приму Швеблин за образец для «Поединка гримас», потому, во-первых, что недавно прочел ее рассказы, и самое сильное впечатление произвела на меня ее «Дистанция спасения», где так остро чувствуется знойный воздух засухи, пропитанный запахом пестицидов и той отравы, которую иные матери дают своим детям. Я по сию пору не оправился от своего тогдашнего удивления, когда, едва дочитав книгу, почувствовал, что сам превращаюсь в одну из матерей с проснувшимся инстинктом убийства: Швеблин добилась того, что рассказанное в самом деле *происходило во мне*.

Думаю, что по этой причине я, если когда-нибудь все же примусь переписывать «Поединок гримас», буду стараться изо всех сил подражать ее манере, хотя и не сомневаюсь, что для этого

надо годами изучать печаль и нелегкое искусство рассказчиков из Рио-Платы.

В моем рассказе эгоизм чревовещателя определял бы все, и в первую очередь: отношения с его единственным сыном. Вальтер под моим пером был бы ревнивцем — примерно таким, каким стал я двое суток назад, хотя не располагаю никакими доказательствами неверности Кармен и сам чувствую себя посмешищем, я бы даже сказал, что мне хочется убедиться в ее измене и тем самым получить право на бегство, — невротиком, сосредоточенным на себе эгоистом, испытывающим сильное, чисто физическое отторжение от родного сына, отторжение, в известном смысле уже предсказанное эпиграфом из Швеблин и стоящее в центре всего.

В переписанном мной тексте Санчеса отец захотел бы в прямом смысле покончить с сыном, то есть убить его без околичностей. И перед нами оказался бы не страх отца, обнаружившего, что его наследник — такое же чудовище, как и он сам, а его противоестественное желание покончить с тридцатилетним сыном, которого он считает выродком, не заслуживающим права на жизнь. Разумеется, я вовсе не разделяю преступного намерения Вальтера, среди прочего еще и потому,

что никому не желаю смерти, а также и потому, что обожаю троих своих сыновей. Как раз вчера Мигель и Антонио, старший и средний, позвонили из Серденьи, где проводят изумительный отпуск среди развалин Пулы: тридцать лет назад у нас с Кармен там был медовый месяц. Люблю вас, сказал я им. И тотчас добавил, давая понять, что провожу второй медовый месяц с их матерью: «Мы оба вас любим».

Такое я отваживаюсь сказать по телефону, но зато робею произнести в глаза: разве что вчера, когда не стал сдерживаться.

— Мы тоже вас любим! — закричал Мигель, самый ласковый из братьев, не знаю самый ли умный, что, впрочем, не имеет значения, если любишь всех троих одинаково.

— Нет, я больше, — сказал я.

И Кармен попеняла мне за то, что я так смущаю их. Они уже большие мальчики, только и сказал я в ответ, черта с два их смутишь.

— Мы вас любим! — сказал Антонио, чтобы не оставаться в меньшинстве.

У сыновей своя жизнь. Они далеко от нас. Будь у нас дочка, она, конечно, была бы поближе. Но, конечно, всем известно, что мужчины любят свободу, они сами себе господа, и моя троица

совсем не исключение. Третий стал авиаинженером и нашел себе очень денежную работу в Абу-Даби: время от времени мы разговариваем с ним по скайпу. Нельзя гордиться сильнее, чем я горжусь своими сыновьями. Если когда-нибудь я покончу с собой или исчезну, мне хочется, чтобы они знали, как я восхищался ими. Я давно их не видел и потому не мог сообщить, что записываю ежедневно в этот дневник, да и не думаю, что надо сообщать им, чем я занят, но хотя меня гнетет мысль, что они могут подумать, будто их отец — отупевший от безделья пенсионер и даже еще хуже — отставной адвокат, уволенный за пьянство и за то, что постоянно бывал не в форме. Да пусть думают, что хотят. Мне достаточно любить их, гордиться ими и знать — звучит приземленно, но я все же должен упомянуть это — что они смогут ссудить меня деньгами в том случае, если разведусь с их матерью и буду нуждаться в их помощи. Когда-то, когда того требовал их нежный возраст, я был к ними добр и снисходителен, а Кармен — безупречной матерью, ласковой и заботливой. И все равно я не могу не размышлять об отцовстве. И не могу отрицать, что, когда мы даруем жизнь другому существу, мы одновременно обрекаем его на смерть.

Обрекаем на смерть? Если бы я переписывал «Поединок гримас», сын поставил бы это в вину своему отцу-чревовещателю. У меня имеется достаточный опыт, чтобы однажды поставить себя на место Вальтера и написать этот рассказ лучше, чем он. Но сам-то я придерживаюсь иного мнения: мы даруем нашим детям жизнь. И вот этой-то мысли или, если угодно, убеждению никогда не дано потускнеть и стереться, если бы я только мог вытравить из памяти всего-навсего один давний день — тот день, когда я спустился в Барселонский порт и там мне показалось, что увидел — несомненно, слишком живое воображение сыграло со мной злую шутку — как покачивается на поверхности воды какое-то бесформенное тело, похожее — как бы определить поточнее? — на трупик обезьяны.

Представив, что это она и есть, я довольно долго спрашивал себя, в самом ли деле это обезьянка и, если так оно и есть, целое ли это тело или его фрагмент.

Я хочу всего лишь знать, сказал бы сын в «Поединке гримас», зачем ты так рано, когда мне было всего пятнадцать лет, сказал, что со смертью все кончается и после нее уже ничего нет. Сказал потому, ответил бы отец, что ужасно было

видеть, что ты, как все равно собака, не имеешь ни малейшего представления о смерти.

— Ты плохо рассудил тогда, отец. Разве на самом деле ты не хотел видеть меня уже мертвым и похороненным? И разве тебе не была ненавистна сама мысль, что у тебя есть сын, потому что на самом деле хотел жить своей жизнью, не отягощенной отцовскими обязанностями.

Услышав такие слова, Вальтер непременно сочтет сына законченным и совершенным чудовищем. И возымеет желание убить его. Да, вот так: собственный сын подал бы ему эту мысль. И Вальтер скажет, кое-чего, впрочем, не договаривая:

— В чем дело? Что ты такой нежный-то? Надо терпеть и свыкнуться с этой мыслью: ты рожден, чтобы умереть.

А сын тогда закусит удила:

— Ты довел меня до изнеможения, отец. Я — поэт, а вот ты — всего лишь чревовещатель второго ряда, человек невостребованный и пышущий злобой на всех чревовещателей, которые — ты сам это чувствуешь! — превосходят тебя мастерством. Потому что мир должен вращаться вокруг тебя, да? Ты настоящий нацрисс!

— Нарцисс, ты, наверное, хотел сказать? Сом-

неваюсь, что ты мой сын, раз даже не научился правильно говорить. И я начинаю подозревать, что ты повредился в уме, узнав, что смертен.

Потом дерзкий сын и отец-«нацрисс» долго молчали бы, а в мое повествование постепенно просачивались бы частицы, которые наверняка стали бы ключами к тонкой магистральной теме в дневниках чревовещателя; и одна из таких частиц, лишь по видимости кажущаяся некой второстепенной, побочной линией, окажется «яванским зонтиком», который, как и у Санчеса, очень важен для криминального ядра рассказа, а, может просто пригодится Вальтеру, чтобы в нескольких местах его туманной автобиографии просто помахать этим зонтиком в воздухе, отпугивая призраков, гнездящихся в его голове.

Я прямо вижу, как мизантроп Вальтер закипает от ярости в беседе с сыном и вслепую, наугад тычет зонтиком во все стороны, начиная таким образом добровольную попытку покончить со своим злейшим врагом — самим собой.

Я с предельной ясностью вижу абсолютную необходимость, в том случае, если все же когда-нибудь решусь переписать рассказ, — сохранить в неприкосновенности ту сцену, где Санчес демонстрирует нам поединок гримас между отцом

и сыном. И столь же ясно вижу необходимость снабдить эту сцену подстрочными примечаниями — по одной на каждую гримасу, в духе Дэвида Фостера Уоллеса[49], которые создадут сильный контраст меж двумя своеобразными стилями (один принадлежит Швеблин, другой ДФУ), столь далекими друг от друга: эти сноски способны будут вызвать настоящий ураган.

Есть такое, что невозможно скрыть даже от себя самого: я без памяти люблю необычное и даже нелепое, безграничное изобилие сносок, которыми этот американский писатель безудержно усеивал низы своих страниц. Я неизменно нахожу в них совершенно неудержимый и могучий порыв писать без остановки, писать, покуда примечаниями не будет уснащен весь текст, и весь мир превратится в один огромный вечный комментарий без последней страницы.

Поэтому я восторженно спародирую их или воздвигну алтарь их безапелляционному тону и сделаю это через несколько пространных подстрочных примечаний, напрямую связанных с поединком гримас, который устроили Вальтер и его сын, а также — с историческим эпизодом

[49] Примечания: 49

Дэвид Фостер Уоллес (1962–2008) — американский писатель, мыслитель, эссеист, автор нескольких романов и сборников рассказов.

из польской литературы: в 1942 году, в оккупированной немцами Варшаве дома у Станислава Виткевича или Бруно Шульца устраивались состязания — кто состроит самую жуткую гримасу.

Судя по всему, рассказывает Ян Котт, можно было увидеть, как обитатели той или другой квартиры становились лицом к лицу, словно перед схваткой или вступив в нее, и боролись за полный разгром противника, то есть старались скорчить рожу настолько омерзительную, чтобы сопернику не удалось ее превзойти.

По словам Котта, для этого пинг-понга ничего, кроме собственных лиц у них не было. «Помню тот день, когда, услышав странные звуки, доносящиеся из закрытой комнаты, я распахнул дверь и увидел, что два исполина польской словесности стоят на коленях друг перед другом, бьются лбами об пол, а потом, по громогласной команде «и-и раз, и два, и-и-и три!» молниеносно вскидывают головы и корчат гримасы, ужасней которых я в жизни своей не видывал. Эти мимические поединки не прекращались до окончательной победы над противником».

Мои пространные сноски к поединку гримас между столь излюбленным Самантой Швеблин «рио-платенским стилем» и раскидистым

стилем Фостера Уоллеса занимали бы столько места, сколько нужно, даже если бы структура Санчесова рассказа явно пострадала бы от такого забавного и необычного вмешательства, такого перегруженного, и, как теперь принято выражаться, душного, такого пространного и просто странного.

Я сказал от «забавного и необычного», но, честно говоря, необычного там немного. Вспомните, что сказал однажды Уоллес, когда привнес некий свет и тайну в значение своих нескончаемых глосс, которые, по его мнению, становились едва ли не «вторым голосом, звучащим у него в голове» (ах, мне ли не знать это ощущение!).

Я совершенно уверен, что мне было бы забавно писать эти нескончаемые примечания; я облек бы их в длиннейшие фразы, которые, несмотря на изысканность стиля, потребовали бы от читателя колоссальных усилий. Я так развлекался бы этой нескончаемой шуткой, что, боюсь, не побоялся бы добавлять им больше пояснений и уточнений, чем требовалось бы, причем явно добавленных некстати, не к месту и попусту, ибо вставлял бы их наобум, то есть постарался бы «утяжелить» текст, пытаясь испытать то же наслаждение возмутительной безнаказанностью, которого

достигал Уоллес всякий раз, как увековечивал свои «немецкие» по сути примечания: немецкие потому, что еще Шопенгауэр говорил, мол, главная черта настоящего национального немецкого характера — это занудство.

Я же всегда чувствовал, что просто млею от него. Более того, я мечтаю провести один день моей жизни — или хоть полдня — как немец, пишущий несусветно утомительную прозу, как немец, грузящий до немыслимых пределов, как немец, которому доставляет удовольствие искать наслаждение в тяжеловесных и запутанных оборотах и периодах, где память безо всякой посторонней помощи уже через пять минут терпеливого чтения начнет понимать, что ей это нравится, нравится все больше и больше, пока наконец под конец длинной тевтонской фразы вспышкой молнии откроется ее смысл и головоломка будет разгадана.

Девиз многих немцев: «Пусть небеса даруют читателю терпение». И когда теперь я думаю об этом, понимаю, что таков мог быть и мой девиз. Потому что мне очень нравится сама возможность однажды и в полной мере почувствовать себя усыпительным немецким писателем. И еще возможность того, что когда начнет казаться,

что подстрочные примечания в «Поединке гримас» не кончатся никогда, они все же доберутся до финала и оставят свободное пространство для развязки, а в ней перед нами предстанет проигравший поединок сын, блуждающий по темным улицам — темным, чтобы не сказать «погруженным во мрак». Сын, умерший при жизни. Побежденный на поединке с отцом. Добыча могильных червей. Труп в гробу. Труп, который готовится к ожидающим его долгим зимним ночам, к ужасным германским ночам, которые наверняка окажутся тяжелей свинца, к бесконечным ночам, в которые напрасно будет ждать каких-нибудь роскошеств — никто больше не подойдет к его могиле и не возложит на нее хризантемы, и над нею не прочтут даже самой завалящей молитвы.

32

Заказав утром опоздавшие журналы, я выбрал воскресное приложение, где на первой странице красовалась Скарлетт Йоханссон на концерте «Зебды», совсем забыв, что внутри напечатано интервью с Санчесом. Бессмысленные вопросы и ответы им под стать. Искорка радости на том месте, где журналистка осведомилась, не хотелось ли ему когда-нибудь оставить писательство. Санчес ответил, мол, «как ни забавно, всего лишь час назад, в местном книжном магазине мне сказали, что мое творчество сейчас на взлете, а я, не удержавшись, сообщил, что собираюсь на покой. Моя реакция напомнила мне давние времена, когда мне было двадцать лет, и ночью, в баре, куда мы завернули напоследок, перед возвращением домой, я сказал приятелям, что подумываю бросить писать. Но ты же и так ничего не пишешь? — резонно возразили мне. Понимаете? Я еще не начал писать, а меня уже спроваживали на покой».

Наверное, он наслаждался, рассказывая об уходе Вальтера в рассказе «Смех в зале». Потому что Санчеса, кажется, пленяют прощания и расста-

вания. В последнем рассказе, где тоже имеется такое, он рассказывает о бегстве чревовещателя в далекую Аравию, бегстве столь же неспешном, сколь и прекрасном, с целью найти истоки устного творчества, и хотя истинную причину своего путешествия Вальтер скрывает, читатель замечает это, ибо трудно поверить, будто он в самом деле отправился на Восток в надежде отыскать там место, где берут начало все рассказы. Да кто ж поверит, что в Аравии найдется нечто подобное? Пусть даже, как доказал Норман Дэниэлс[50], беллетристика в Европе зародилась благодаря арабам, глупо думать, что именно поэтому там можно найти «*оригинальный голос*», первоисток повествования…

Чревовещатель обязан знать, что если что-нибудь определяет голос — любой, какой угодно, в том числе и собственный, — это свидетельствует о том, что он больше не слышен, что он прозвучал, блеснул и исчез, скрылся в собственном сиянии. У голоса есть нечто общее со звездой, незаметно для всех скатывающейся с небосклона. Нет голоса, который не иссяк бы. Его можно вызвать в памяти, но невозможно встретить снова; пола-

[50] Примечания: 50

Норман Дэниэлс (1942) — американский политический философ, политолог, специалист по этике и биоэтик.

гать иначе — не то же самое ли, что думать, что машина времени доставит нас к первоначалу?

Голосу можно подражать, можно повторить произнесенное им и таким образом избежать его полного исчезновения, но это будет уже не тот голос, да и сказанное будет иным. Повторы, варианты, версии, интерпретации того, что сказал этот исчезнувший голос, неизбежно извратят смысл сказанного. Из них и образуется то, что зовется «литература», а для меня это способ поддерживать огонь слова сказанного (а не написанного), который горит в ночи времен, способ превратить невозможность смириться с потерей в попытку хотя бы восстановить ее, пусть даже мы и знаем, что ее нет, а все, что есть у нас в досягаемости — лишь подделка.

После обеда я вышел из дому и как раз у «Тендера» буквально наткнулся на Юлиана — очень сильно нетрезвого и как будто пережившего недавно какие-то чудовищные приключения. Он был до такой степени пьян, что я отважился в упор спросить его, есть ли у Санчеса любовница. Он мгновенно понял меня и ответил, не задумываясь:

— Тут важна страстная энергия мысли.

— Дурака не валяй. Есть у Санчеса любовница

или нет?

— А ты не знаешь? Этот негодяй без ума от Аны Тёрнер, с которой ты наверняка знаком. И всем известно, что у них роман. Да они и не скрывают, ты наверняка единственный, кто не в курсе дела.

Несмотря на удушливый зной, я, как принято писать, похолодел. С одной стороны, я немного успокоился, потому что нервы мои были издерганы ревнивыми подозрениями насчет Кармен. Но с другой — почувствовал, что сильно задет. Ана больно ранила меня. Разочаровала тем, что у нее оказался такой скверный вкус. Отчего это нам всегда кажется, что женщины, которые предпочли нам других, неизменно выбирают каких-то чурбанов? Что есть такого у этих остолопов, чего нет у нас? — вот наш неизменный вопрос.

Мы с Юлианом сели на веранде, и он продолжал молоть такую чушь, что я несколько минут не мог взять в толк, о чем идет речь. Через какое-то время все же стал вслушиваться, а он говорил все тише и тише, переходя порой на дразнящий шепот, и вот наконец прозвучала фраза, которую я не могу точно воспроизвести тут, но по смыслу похожая вот на эту (пишу, заливаясь краской смущения): «Она, столь сильно любимая, прозябает

по вечерам, пленница самой себя, привязанная к одному месту, к средиземноморскому городу, полному лживой прелести, к этой книжной лавке, такой же, как все прочие, к одиночеству своей квартирки, к ужасающе тоскливым годам, к ожиданию того дня, когда любовник сможет посетить ее...»

Меня особенно раздражал его тон и еще его претензии на роль неудачливого писателя, его неуклюжие попытки (могу, конечно, ошибаться) сообщить в такой убогой и, безусловно, фальшивой форме, что чудесная Ана Тёрнер влачила жалкое существование в плену у самой себя и своего любовника... А может быть, он хотел сказать мне что-то другое. Какая разница, если он все равно красуется в позе «непризнанного писателя», и это совершенно невыносимо. Как и его бредовая «скверная литература», потому что вчуже становится стыдно за это «прозябание в плену у самой себя».

И потому он шокировал меня еще сильней, когда внезапно, понизив голос до почти невыносимого полушепота, поведал мне, что передо мной сидит лучший в мире писатель.

Я решил, что при первой же возможности покину его. Но сначала, умирая от любопытства,

спросил, неужели он совсем нигде не работает?

— Не хочу влюбиться в тебя, — был ответ.

Я счел за благо подумать, что он имел в виду смутить меня и сбить с толку или же был уже слишком пьян. Но услышав такое, понял, что самое лучшее — и самое правильное — будет подготовить пути отхода. И все же решил задержаться еще немного и сначала выяснить, где он работал раньше. Много лет преподавал в школе, заплетающимся языком еле выговорил он, роясь в карманах своего обтрепанного пиджака в поисках окурка. Потом выперли за вопиющее неуважение к властям. Каким? — поинтересовался я. Но он продолжал бормотать, словно не слыша. От этого увольнения сильно пострадали его дети, и жена его бросила. И теперь все они — конченые придурки, подчеркнул он — живут на Майорке, в Бинисалеме. Его они оставили в покое. У него никого нет на свете — сказал он так громко, что все клиенты «Тендера» обернулись на нас: не хватало лишь, чтобы все разом загоготали — но он и не подумает меняться, ибо чувствует просветление, а чай и спиртное стимулируют его и внушают, что будущее принадлежит ему; что когда-нибудь он станет невероятным поэтом, и тогда все будут преклоняться перед ним, а я

— первый, поскольку не стану же я отрицать, что я несравнимо ниже него, да и вообще я человек пропащий, и от чрезмерного любопытства весь в масляных пятнах. Я не хотел унижаться, признаваясь, что не понял смысла этого высказывания. И ты наверняка, вдруг добавил он, ты должен дать мне больше. Больше чего? Масла, отвечал он, едва ли не пуская слюни. А потом попросил у меня денег. В ответ на мой упрек он склонил голову ко мне на плечо. Я сообразил, что если оставить это без последствий, положение может осложниться, и мы с ним станем посмешищем всего квартала и мишенью для гадких шуточек. А я этого не хотел, а еще меньше, чтобы отзвук пересудов и сплетен достиг ушей Аны Тёрнер. Да не переживай так, сказал он, не настолько уж ты ниже меня — всего на каких-то полметра.

Я поблагодарил его за то, что проявил такую деликатность и шепнул мне это, потом уж как мог отклеился от него и его липкой головы, в продолжение нескольких секунд почти растекшейся по моему плечу. И, намереваясь как-то отстраниться и от туловища, я слегка пихнул его в сторону, однако успеха не стяжал: он не сдвинулся, отчего мы стали похожи на близнецов, соединенных одной пуповиной. Более того, если бы в этот миг

кто-нибудь дал себе труд внимательно взглянуть на нас, он мог бы, чего доброго, решить, что мы, невольно воплощая в жизнь один из рассказов Санчеса, временами превращались в отца, борющегося со своим полоумным сыном, или — что примерно то же самое — двух одиночек, в печальный и скучный вечер вздумавших начать поединок гримас: больная голова против головы безумной.

33

Простонародное воображение связывает профессию чревовещателя с чем-то ужасным. И потому, когда Санчес превратил своего Вальтера в преступника, немногие читатели этой книги, должно быть, сочли сюжет вполне заурядным: марионетка, чревовещание и преступления.

Чревовещатель всегда внушает страх — и самим собой, и своей куклой.

Но первый встреченный мной чревовещатель был женщиной, которая никого не ввергала и не собиралась ввергать в панику. Звали ее Герта Франкель и была она австриячкой. Она бежала от нацистского гибельного варварства и в 1942 году нашла приют в Барселоне, где стала работать в компании «Лос Виенесес» вместе с Артуром Капсом, Францем Йоханом и Густавом Ре — артистами, которые остались в этом городе на всю жизнь и прославились в нем.

Франкель, больше известная как «сеньорита Герта», стала известна благодаря своей работе на телевидении, делавшем тогда первые шаги: она выступала в детских программах с куклами и ма-

рионетками. Самым знаменитым был нахальный пудель Марилин, который с напором и нажимом отвечал на каждую реплику хозяйки: «Сеньорита Герта, я не люблю телевидение». Этой фразой Франкель давала понять — мне, по крайней мере, всегда так казалось — что считает немилостью судьбы свою деятельность на таком современной и такой пошлой ниве, как телевидение; без сомнения, она понимала, что место ее — не здесь, а в каком-нибудь кабаре в Центральной Европе или в варьете родного города.

Прочие чревовещатели, которых я видел и запомнил в детстве, все как один отличались зловещим видом и тоном. Среди самых незабываемых был тот, что появляется в фильме Хичкока «Стеклянный глаз» — это лучшая серия в сериале, снятом им для телевидения. Там карлик манипулирует с огромной куклой, прекрасной как Аполлон, сидя у нее на коленях. Эффект так силен, что некая невинная барышня влюбляется в куклу, подумав, что это и есть чревовещатель. Легенда гласит, что и актриса, и актер-карлик, и семь других исполнителей в этом фильме умерли при странных обстоятельствах.

Однако самым незабываемым из этих зловещих чревовещателей был, надо думать, тот, что

появляется в мучительном фильме Эриха фон Штрогейма «Великий Габбо». По сюжету главный герой успешно выступает со своей куклой по имени Отто, пока не влюбляется в некую балерину, которая, однако, не отвечает на его чувство, так что Отто приходится давать ему советы — иногда прямо на сцене — по поводу того, как завоевать сердце девушки. Сюжет постепенно становится все более мерзким, вселяющим все большее беспокойство в душу зрителя и неумолимо движется в то суровое пространство, которое управляется преступным миром. Более чем вероятно, когда-нибудь я постараюсь подтвердить это, что Санчес, сочиняя своего «Вальтера…», черпал вдохновение в этой картине Штрогейма.

В числе рассказов, связанных с этим миром кукол и ужаса, есть и слышанная мной от отца история об аргентинском чревовещателе, который сошел с ума, когда увидел, как после рождения сына его любимая кукла начала отчаянно ревновать, поникла головой и потеряла дар речи. Однажды, когда чревовещатель, ко всему прочему он носил диковинное имя Фирулаис, вышел из комнаты, младенец потянул в рот руку марионетки на манер соски. Фирулаис, удивленный тишиной, бросился в комнату и обнаружил

сына лилово-синим и безнадежно мертвым: ребенок задохнулся от того, что рука марионетки перекрыла ему доступ воздуха. В отчаянии чревовещатель швырнул в огонь куклу, сделанную из папье-маше, а сам в полнейшем отчаянии от всего случившегося разразился рыданиями над телом сына. И в какой-то миг, взглянув на огонь в очаге, увидел среди языков пламени фарфоровые глаза марионетки, державшиеся на проволочках — все указывает на то, что именно эта картина навсегда лишила его рассудка.

Самым знаменитым чревовещателем в истории — если верить энциклопедии «Эспаса», которая лет двадцать назад досталась мне в наследство от покойного отца, и в свое время, несмотря на сопротивление Кармен, сильно улучшила антураж этого кабинета — был некто Эдгар Берген, имевший шведские корни, но родившийся в Чикаго. Еще в отрочестве он начал выступать с куклой, изготовленной для него приятелем-столяром, — эта марионетка, изображавшая ирландца-газетчика по имени Чарли МакКарти, стала постоянным участником его представлений. Берген неизменно выходил на сцену в ослепительно элегантном фраке, и его партнер тоже носил монокль, цилиндр и вечер-

ний костюм. Чарли свой острый и длинный язык за зубами держать не желал и хлестал ядовитыми фразами всякого без разбору, язвительность его не знала границ и не отличала сильных мира сего от пролетариев. В середине 40-х годов, когда пара была на пике популярности, на гребне успеха, чревовещатель женился на Фрэнсис Вестерман: их дочери Кэндис в будущем суждено было стать знаменитой актрисой.

И едва лишь она появилась на свет, как Чарли Маккарти превратился в сущее чудовище. Спустя годы Кэндис рассказывала в одном из телеинтервью эту о том, как травмировала ее детскую психику эта история — было ужасно, когда она стала замечать, что «деревянный братик» норовит оскорбить ее и неизменно оказаться между нею и отцом. Кровать Чарли стояла в комнате Кэндис, а точней — наоборот: Кэндис поместили в комнату, где обитал ревнивый Чарли, и она вспоминает, как в детстве ей пришлось привыкать по ночам засыпать, глядя на неподвижную фигуру — ну, просто труп — Чарли, пристально и скорбно уставившегося в потолок.

А я, сегодня утром тоже глядевший в потолок, в данном случае, моего кабинета, не мог не спрашивать себя, как же я собираюсь переписывать

«Смех в зале», если когда-нибудь все же решусь приняться за это дело. Что именно я захочу изменить в этом рассказе, а ведь он — единственный во всей книге — нравится мне по-настоящему. Помимо прочего, там был уход со сцены за кулисы, драматический разрыв в жизни артиста, столь привлекавший меня. Я сознавал, что на самом деле надо будет всего лишь заменить эпиграф из Борхеса — он тут явно был не к месту, потому что легко узнаваемого борхесовского стиля в самом рассказе совсем не чувствовалось, — на эпиграф из Пьера Менара, повторяльщика истинного и прирожденного: «Дон Кихотов существует столько же, сколько читателей «Дон Кихота»». Прочее можно оставить как есть, не тронув ни единой запятой.

И потому я решил в манере Менара повторить весь рассказ целиком, ибо мне пришло в голову, что я, как читатель, каким-то образом отождествляю себя с чревовещателем и его преступлением. Мне захотелось разыграть это действо, пусть даже ограниченное стенами моего кабинета. Мне захотелось представить его воображаемой публике и заново пережить тот волнующий момент, когда Вальтер — в голосе его слышатся рыдания — исполняет «Не женися ты на ней, // Она другим

целована, // Целовал ее другой, // Влюблена в него она».

Чтобы хорошо это спеть, что, как ни странно, означает спеть так же скверно, как это делал Вальтер, то есть иными словами, выявить драму этого несчастного, униженного человека, который в Лиссабоне на публике отчаянно распевал эту песнь любви и ревности и под конец взял фальшивую пронзительную ноту, пустил петуха столь же трагического, сколь и смешного — надо было полностью вжиться в роль чревовещателя. И, разумеется, я мог сделать это только в одиночестве своего кабинета, воображая, как несуществующая публика покрывает финал громозвучным дружным хохотом.

Учитывая, что представление было столь своеобразно, что разыгрывалось исключительно в пределах моего мозга, неудивительно — не забудем и про безнаказанность, сопровождавшую каждое действие, — что Андер Санчес показался мне идеальным претендентом на роль парикмахера-убийцы.

Я засмеялся, подумав об этом. Ибо это можно было счесть символическим убийством автора. Но разве он не заслужил такой участи? И разве этот великий писатель, пусть и сто лет тому

назад, не был возлюбленным Кармен и в этом статусе не хватал ее своими грязными лапами? И не забудем, что еще совсем недавно я видел, как он гипнотизирует взглядом Ану Тёрнер, а это уже и вовсе нечто непростительное.

— Смерть Санчесу, смерть автору! — крикнул я себе в одиночестве своего воображаемого театра.

И начал представлять перед воображаемой публикой эту третью главу. Она была отчасти в «Петрониевом духе», полагаю, что могу так обозначить ее, поскольку всего лишь воплощал в жизнь то, что ранее, в данном случае, тридцать лет назад, уже было написано и, как мне кажется, специально и только для меня.

И я так полно отождествил себя с Вальтером, что даже начал раздумывать: кто бы мог быть тем убийцей, который в любую минуту получит от меня приказ умертвить этого автора, метким выстрелом уложить его вверх лицом на каком-нибудь перекрестке нашего квартала. И в конце концов я пришел к выводу, что этим наемным убийцей прекраснейшим образом может стать племянник-ненавистник.

Как, оказывается, просто подбить кого-нибудь на убийство, немедленно сказал я себе, особенно если знать, что не будешь терзаться виной.

Да, вот именно, эти слова я произнес вслух в то утро, стоя посреди своего кабинета:

— Они никогда не заставят меня испытывать вину.

И весь зал покатился со смеху и закричал «бис!»

Пустяшное дело, ответил я зрителям, повторение — мой конек.

И так приободрился, что набрался духу выглянуть в окно и посмотреть, не идет ли случайно по улице нашего квартала живой и виляющий хвостом убитый Санчес. Если бы я его увидел, то несомненно отважился бы крикнуть ему сверху:

— Эй, ты что здесь делаешь — я ведь заказал твое убийство, и заказ выполнили. Не видишь, что ли, что тебя уже прикончили?

Я представил себе, что к моему удивлению Санчес вовсе ни на какой не на улице, а вовсе в собственном моем кабинете, и смотрит на меня с негодованием и упреком.

— На самом деле, — говорю я, оробев, — это все не то, чем кажется. Потому что я не виноват. Это ошибка. Да и как я могу быть виноват в чем-то, если все происходит в литературе?

— Вопрос по существу, — сказал Санчес. — Но ты же не станешь отрицать, что так говорят толь-

ко виновные.

[ОСКОП 33]

Вот если бы я исчез, а мой дневник был бы найден каким-нибудь человеком, вовсе незнакомым со мной, но по случайности получившим доступ к моим файлам, то он, человек этот, взяв на себя труд углубиться в чтение этих страниц, через какое-то время непременно пришел бы к выводу, что раз меня чаруют фальсификации и я, к примеру, долгое время скрывал, что был адвокатом, прикинувшись застройщиком, то, быть может, утверждение, будто я — начинающий писатель, тоже не следует принимать на веру. Однако этот читатель, этот человек, наделенный, разумеется, правом не считать меня дебютантом, не только сильно заблуждается на сей счет, но и самым чудовищным образом недооценивает тот тяжкий и напряженный труд, которого ежедневно требует от меня совершенствование текста труд, исполненный глубочайшего смысла, труд благодарный, ибо все мои усилия вознаграждаются всякий раз, как я вижу, что сумел продвинуться дальше в этом дневнике, где день за днем одолеваю новые пути в неустанном желании узнать больше, в неутолимой жажде постичь, что же я

написал бы, если бы писал, день за днем напрягая воображение, когда я тку некое полотно, которое едва ли когда-нибудь сочту завершенным; день за днем создаю совокупность слов, подсознательно воспринимаемую мною и как конечную, и как нескончаемую, ибо таково свойство семейного лексикона: дневник, где я мог бы пребывать много времени, постепенно меняя каждый фрагмент, каждую фразу и повторяя это на такое многотысячное множество ладов, что истощил бы их запас и дошел бы до пределов несказанного или, вернее, оказался бы у врат невыразимого.

34

Когда позавчера Юлиан повторил, что он — первый писатель мира, я вспомнил неоконченный рассказ Достоевского, прочитанный в старой, давно потерянной антологии. В рассказе этом молодой провинциальный скрипач считает себя лучшим музыкантом мира и отправляется в Москву, потому что в родном городе ему стало тесно. В столице он поступает на службу в оркестр, но его вскоре увольняют. Потом устраивается в другой — его выгоняют и оттуда. Чрезмерное самомнение при отсутствии дарований. Но он не понимает, по какой причине — одной или сразу нескольким — неизменно оказывается за бортом. Никто не признает его талант, кроме бедной больной горничной, которая влюблена в скрипача и не хочет противоречить ему, когда он твердит, что нет на свете скрипача лучше. Девушка втайне от хозяев дает ему приют в своей каморке, ссужает деньгами, хотя их у самой-то нет, чтобы он мог продолжать борьбу за свою славу. Когда бедняжка уже не в силах оплачивать его беспутства и бахвальство, мы видим, как «луч-

ший в мире скрипач» бродит как потерянный по улицам заснеженной Москвы, останавливается перед афишами, приглашающими прохожих на музыкальные программы, тщетно ища там свое имя — имя несравненного виртуоза, которого никто не знает. Мир несправедлив ко мне, думает он. И на этом месте рассказ обрывается, точнее, здесь обрывает его Достоевский. И, вероятно, продолжение было бы излишне, потому что все уже сказано.

[ОСКОП 34]

Я открыл почту, и на меня посыпался *спам* в виде мудреных банковских извещений, сводок о состоянии счета, начисленных процентов, удержанных комиссий и прочего. И среди этой цифровой писанины обнаружились и письма от Дамиана, моего давнего и доброго друга, который, по доброй воле избрав одиночество, совершал интроспекционное[51] путешествие, как он его называет, на почти необитаемый остров Корво, расположенный в восточной части Азорских

---

[51] Примечания: 51

Интроспе́кция — метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов.

островов: предпринял он это путешествие ради эксперимента, собираясь жить наподобие Робинзона в хижине и обогатиться опытом пребывания в пустынной местности. Зимой на острове Корво находится не более четырехсот обитателей. Предыдущее письмо описывало его жизнь «дикарем» при полном отсутствии общества, если не считать контактов с несколькими отчаянными ботаниками, которые оказали ему помощь, когда сразу же по прибытии он сломал палец на левой руке.

В новом письме речь шла о том, что он находится на острове Пико, в центральной части Азорских островов и, несмотря на сравнительное многолюдье — здешних жителей около четырнадцати тысяч, чувствует себя еще более одиноким, чем на Корво. Дамиан описывает мне вулкан с заснеженной вершиной, занимающий едва ли не весь остров и считающийся самой высокой горой в Португалии, и объясняет мне, что в прежние времена остров, благодаря своим великолепным виноградникам, процветал. Дамиан намеревается через два дня добраться самолетом до острова Сан-Мигел — самого крупного в архипелаге и насчитывающем более сотни тысяч жителей.

Эти мейлы навели меня на мысли о необитае-

мых островах и, роясь в Гугле на предмет поисков чего-нибудь забавного на эту тему, чтобы развлечь и удивить моего друга, я наткнулся на «Причины и поводы появления необитаемых островов», короткую рукопись Жиля Делёза[52], относящуюся к 50-м годам, нигде не опубликованную, но тем не менее включенную автором в библиографию к своей книге «Различие и повторение».

Прежде я как-то не брал в расчет, что остров всегда уникален, отличен от всех остальных и в то же время никогда не бывает один, потому что должен быть включен во что-то, именуемое нами «рядом», во что-то, парадоксально *повторяющееся* в каждом отдельном единичном острове.

Возникновение этой темы побудило меня узнать побольше о книге Делеза и в ходе изысканий я набрел на категорически верное наблюдение Марсело Але: «Именно потому, что нет оригинала, нет и копии, следовательно, нет повторения одного и того же».

Да, это было метко подмечено, однако не пригодилось мне для ответа Дамиану, который знать

---

[52] Примечания: 52

Жиль Делёз (1925–1995) — французский философ, представитель т.н. континентальной философии, иногда относимый к постструктурализму.

не знал, что я уже больше месяца вожусь с темной повторения. Утверждение Але из моих уст его бы встревожило. И я решил сообщить ему, что если на Пико, более многолюдном и гуще заселенном, он чувствует себя более одиноким, чем на Корво, то пусть приготовится к тому, что на Сан-Мигеле ему станет еще более одиноко. Вероятней всего, написал я, на Сан-Мигеле тебя обуяет желание попасть на остров, который был бы еще пустынней, чем Корво, например, на остров Робинзона Крузо, и там сможешь наконец почувствовать себя в компании.

— Гениально! — ответил он почти в ту же секунду.

Вот это и есть, подумал я, прямая связь с необитаемыми островами.

35

От четвертого рассказа «Себе на уме» я бы оставил тот хемингуэевский привкус, который сохранил в своем повествовании и Санчес. Да и не было бы смысла рассказывать эту историю, иначе как взяв на вооружение «теорию айсберга». Ибо сюжет рассказа сам по себе ничего из себя не представлял бы, не сопровождай его вторая история, которая отсутствует и лишь подразумевается, становясь частью того, о чем не рассказывается.

Два главных героя, два хилых забулдыги влюблены в одну и ту же девушку, о которой не говорят, но читатель догадывается, что оба просто одержимы ею и соперничают за нее. И если есть у них на уме что-то, давшее название рассказу, то это, конечно, девушка, в которую они влюблены.

В трех предшествующих главах рассказчиком выступает чревовещатель, а в четвертой он безымянен. Вздумай я переписать «Себе на уме», рассказчик стал бы моим двойником, но не мною, ибо я считаю, что это невозможно: по моим сведениям, тот, кто говорит (в рассказе) — это не

тот, кто пишет (в жизни), а тот, кто пишет — не тот, кто существует; нет, это будет двойник Мака, который ограничился бы тем, что всего лишь не отказался бы от замысла рассказать некую непритязательную историю, вроде той, что у Санчеса в «Себе на уме», но заменил бы сюжет о двух бедных гуляках банальным диалогом, который не далее чем сегодня утром я вел с Юлианом, когда на свою беду повстречал его на веранде бара «Тендер». Все, о чем мы с ним говорили, балансировало на грани чистейшего вздора, абсолютной глупости, но диалог наш вдруг проявил и высветил неожиданную черту его характера. Неожиданную и очень опасную.

Дело было так: утром я обнаружил его на веранде «Тендера»: он курил, устремив взгляд куда-то за горизонт, и первым моим побуждением было воспользоваться тем, что он меня не видит, и скрыться как можно скорее. Однако он мало того, что заметил меня, но еще и спросил, который час, как будто время что-нибудь значило для этого отпетого бездельника. Может быть, он хотел сойти за очень занятого человека? Есть люди, которые опасаются, что другие обнаружат не только их полнейшую праздность, но и пребывание в абсолютном вакууме.

Вместо ответа я, поддавшись какому-то низменному и подлому инстинкту, предложил ему убить своего дядюшку. И вслед за тем, как бы желая оправдать каким-то образом то, на что хватило у меня дерзости предложить, придумал отговорку; я, дескать, задумал написать рассказ и для вдохновения мне нужно увидеть его в образе безжалостного убийцы.

— Понимаешь, — сказал я, несколько смягчая свою просьбу, — так бывает, что для романа, который я сочиняю, мне нужно представить тебя наемным убийцей, только и всего. Не думай, пожалуйста, что я в самом деле предлагаю тебе совершить преступление. Выручи, брось на меня взгляд киллера-одиночки, и мне этого будет достаточно.

— Короче говоря, — сказал он, — ты должен верить в то, о чем пишешь?

— Я хочу всего лишь вдохновиться, увидев в тебе наемного убийцу.

— Неужели похож? Надо же… — наемный… А нельзя ли получить малость вперед?

Он глядел на меня все более неприязненно и заносчиво. Подумать только, в первый день я проявил такое слабоумие, что этот самый Юлиан показался мне реинкарнацией племянника

Рамо. Он тогда начал говорить, что понимает меня — да ни черта он не понимал! — и докторальным тоном изрекал суждения об «эффекте правдоподобия», который, по его словам, прежде чем возникнуть у читателя, непременно должен возникать у писателя. Понимаю, понимаю, несколько раз повторил он. Но ему хотелось бы, чтоб я, если меня это не затруднит, пригласил его пообедать и превратил в настоящего наемного убийцу, то есть, дал бы денег. В противном случае он уведомит полицию. Вслед за тем он решил блеснуть остроумием: ему, мол, помнится, что я собирался взять у его дядюшки интервью для «Вангуардии», так вот, он хочет знать, убить ли его до интервью или сразу после.

Потом, когда я меньше всего этого ожидал, он устремил на меня взгляд, полный глубочайшего презрения — до тех пор такой глубины мне видеть не доводилось — после чего замкнулся в себе совсем наглухо, приняв невыносимый вид обездоленного на веки вечные. Как вольготно должны себя чувствовать себя в далеком Бинисалеме его жена и дети, подумал я. Что же он такой несчастный-то? — подумал я и спросил в упор:

— Да что с тобой?

— Ты о чем?

— О том, что мне ты можешь рассказать, что с тобой происходит. Потому что ты явно не в себе. Видел бы ты себя в тот миг, когда послал мне этот взгляд убийцы.

Осознав наконец — и, думаю, в полной мере — что я спрашиваю, почему он так угрюм и несчастен, Юлиан начал было ссылаться на жару и сразу вслед за тем — на «глобальное потепление». И мы должны наконец раскрыть эту тайну, выяснить, чем вызвано такое повышение температуры в нынешнее лето.

— Не должны, — ответил я, пытаясь свернуть этот бессмысленный диалог. — Просто прими как данность, что перед нами — тайна, которую заведомо невозможно разгадать. Это и есть пресловутая действительность — непостижимая и хаотичная. Стоит жара, и никто за нее не отвечает. Может, ты думаешь, что существует некое Бюро корректировки, управляющее в том числе и временем?

— Какое бюро?

Его вопрос раздвинул передо мной горизонты удушающего разговора о температуре, но в тот миг, когда я решил, что смогу наконец поговорить с ним о сотрудниках Судьбы, он вновь принялся мусолить тему погоды и завел речь об

адской жаре в Париже летом 2003 года и о том, как проводил целые дни у лотков букинистов на Кэ Вольтер, и о расположенном поблизости зной-ном зоомагазине, где и сегодня можно видеть, как, прыгая по стволу гнилого платана, перекли-каются многочисленные ошалевшие мартышки.

«Мартышек»? Лет пятьдесят уж как не слышал я это слово. В детстве мать рассказывала мне про обезьянок, которых видела в Бразилии, они были общительней шимпанзе и когда общались друг с другом, замолкали, давая сказать собеседнику.

Показалось, что температура в «Тендере» под-нялась еще на несколько градусов, а сам Юлиан из-за своих развинченных движений и неумолч-ной банальной болтовни вдруг стал похож на одну из тех плаксивых мартышек, о которых только что упомянул. Посади его не на вертя-щийся табурет у стойки, а на гнилой платан, и сходство стало бы полным.

Он, вероятно, отчетливо осознал, что уже об-речен и теплых чувств у меня не вызывает, а потому заговорил о другом — на свою вечную и излюбленную тему о творческом бесплодии своего дядюшки, решив, наверное, что тут он окажется более компетентен. И так вот сидели мы, разыгрывая эту вопиюще банальную, по

моему мнению, тему, когда вдруг все переменилось навсегда и непоправимо, потому что почти ниоткуда возникло нечто такое, что до той поры оставалось невидимым и служило «безмолвным фоном» тому, что на самом деле происходило под спудом этой ни к чему не обязывающей болтовни.

Это откровение явилось следствием вполне обычного движения губ, поджатых племянником и длившихся десятые доли секунды, которых, однако, хватило, чтобы ухватить самую суть его существа или, вернее, ибо иначе выходит чересчур высокопарно, безошибочно понять, что было *у него на уме* в этот миг.

Это был, повторяю, самый обычный оскал: его мясистые губы раздвинулись и тотчас сомкнулись, словно он хотел произнести какие-то звуки или выговорить такое, что требовало от него больших усилий. И я в течение, по крайней мере, нескольких кратких секунд ясно видел в его душе: он желает уничтожить меня, человека, на котором сосредоточилась вся его ненависть к человечеству. В этом было нечто такое, что не поддавалось рациональному объяснению, однако эта его гримаса, когда он тщетно пытался издать какой-то звук ясно дала мне понять, что

он желает мне зла — потому ли, что я задел его своим намерением написать роман, или потому, что он принадлежал к породе людей, думающих: раз уж я никогда не буду веселым и счастливым, так пусть и весь прочий род человеческий не знает радости.

Еще он заставил меня вспомнить о юном про́клятом поэте, ходившем по Барселоне в 70-е годы: он был занят тем, что не давал своим друзьям писать, рассуждая, что если ему не хватает таланта для творчества, то пусть и никто не творит. Сейчас он обременен долгами и женами, которые не могут поверить, что их избранник когда-то был машиной зла.

И я подумал: стократ предпочтительней высокомерие, сумасбродство, извращение, дурь и блажь — все, что я угадываю в Санчесе, чем то, что можно было бы приблизительно и условно назвать «мерзость деяний», что, как мне кажется, порождает тлетворное моральное уродство Юлиана.

Иногда, как ни странно, достаточно движения губ, едва заметной, ничего вроде не значащей ужимки в сопровождении мимолетного и молниеносного — столь же стремительного, сколь и испепеляющего — взгляда, чтобы — как гово-

рил Рембо — познать неведомое, и не «*в далекой terra incognita*», а в самом сердце того, что совсем рядом».

[ОСКОП 35]

Племяннику, так ненавидящему своего блистательного дядюшку, надо было просто-напросто набраться терпения и действовать, подобно мужу из рассказа Рэя Брэдбери, то есть всего лишь ждать, когда начнется прилив. В этом рассказе под названием «Лето Пикассо» чета американцев отправляется в отпуск к морю, в некое местечко между Францией и Испанией. Настоял на этой поездке муж, который знает, что там живет Пикассо и даже порой спускается на пляж. Муж не верит, что увидит его, но мечтает, по крайней мере, дышать с ним одним воздухом. После обеда жена решает остаться дома, а муж — прогуляться. Идет на пляж, шагает вдоль берега. И замечает впереди еще одного человека. Он видит его со спины: это сильно загорелый старик, совершенно лысый и почти голый. В руке у него трость и время от времени он что-то рисует ею на песке. Муж, идущий следом, склоняется над этими рисунками и рассматривает их — там изображены рыбы и морские растения. Пикассо удаляется, становясь все

меньше и меньше, пока не исчезает вовсе. Муж садится на песок и ждет. Ждет до тех пор, пока начавшийся прилив не смывает все эти рисунки и песок вновь не становится первозданно чист.

36

Есть книги, которые оседают в памяти навсегда. Например, неоконченный роман Жоржа Перека «53 дня». Мне вообще кажется, что в этом дневнике литературного подмастерья я незаметно для себя подпал под влияние этой книги. Да нет, не кажется: я совершенно уверен, что он сильно повлиял на меня, пусть даже я до сего дня и не вспоминал о нем. Меня восхищает название его книги — прямая отсылка к тому, сколько дней Стендаль диктовал свой шедевр «Пармскую обитель».

Перек умер, не успев дописать свою книгу. Не это ли обстоятельство придает ей теперь особенное звучание? С тех пор, как год назад я прочел «53 дня», я пытаюсь объяснить самому себе тот странный факт, что книга, практически готовая к печати, застряла у друзей автора — *улипианцев*[53] Гарри Мэтьюза и Жака Рубо. Как это понять? Рукопись состояла из двух самостоятельных ча-

[53] Примечания: 53

Улипианцы — члены УЛИПО (*фр.* OULIPO — Ouvroir de littérature potentielle) — Цеха потенциальной литературы). УЛИПО было основано в 1960 году математиком Франсуа Ле Лионне и писателем Раймоном Кено.

стей: вторая исследовала новые возможности, которые открывала детективная история, содержавшаяся в первой, исследовала и в известной степени изменяла ее. Обе части были снабжены забавными примечаниями, озаглавленными «Примечания, относящиеся к отредактированным страницам» и не только завинчивающими еще туже гайку, которая скрепляла обе части, но еще и выявлявшими следующее обстоятельство: роман Перека не был прерван кончиной автора, а он внедрил ее в собственный текст, и, значит, не завершен — нет, роман был дописан задолго до этого, но нуждался в столь серьезной неурядице, как смерть, чтобы стать оконченным, хотя на первый взгляд и мог бы показаться оборванным и неполным.

Таким образом, в этом романе, идеально выстроенном и «завершенном», Перек рассчитал все, включая и обрыв в финале.

И каждый раз, как я перелистываю «53 дня», мне хочется думать, что Перек написал этот роман, чтобы посмеяться над смертью. Ибо это ли не издевательство над высокомерной Смертью — скрыть от нее, что автор поиграл с нею, с этой несчастной гордячкой, заставив ее думать, что это взмах ее смехотворной косы оборвал «53 дня»?

37

Если буду переписывать «Старых супругов», непременно заменю эпиграф из Карвера, совершенно бессмысленный в рассказе, стиль которого напоминает стиль любого автора, сколько ни есть их в мировой литературе, кроме Карвера, на эпиграф из американца Бена Хехта, чей стиль несравненно лучше подходит для истории Бареси и Пирелли. А, может быть, поступлю ровно наоборот и в честь апофеозно-нелепого эссе Ницше «Мопассан, истинный римлянин», оставлю цитату из Карвера, и в книге, таким образом, появятся уже два рассказа, в которых эпиграф не будет иметь ни малейшего отношения к содержанию.

Или все же возьму эпиграфом цитату из «Враждебной куклы» Хехта: на основе этого рассказа Эрих фон Штрогейм снял своего «Великого Габбо».

Хехт был гениальным новеллистом и замечательным сценаристом, и стиль его, если верить легенде, сформировался благодаря раннему и очень хорошо усвоенному чтению Малларме, не больше и не меньше, хотя вскоре это влияние

развеялось и теперь чувствуется лишь в самой известной его книге «Актеры омерзительны».

Эпиграфом из Хехта станет жутковатая фраза, которую я в свое время поймал на лету, когда смотрел фильм фон Штрогейма:

— Отто — это единственное, что есть в тебе от человека.

Эту фразу произносит Мари, ассистентка Великого Габбо, которая была сильно влюблена в него, хоть и не понимала, почему чревовещатель должен разговаривать устами своей куклы Отто.

И поэтому она в конце концов сказала Великому Габбо — а величия в нем было мало — эти ужасные слова о том, что Отто — это единственная искорка человечности, которую она ценит в нем.

Эта фраза в свое время навсегда врезалась мне в память, может быть, потому, что менее всего мне бы хотелось услышать когда-нибудь нечто подобное в свой адрес. Как знать, не она ли стала причиной — пусть косвенной — того, что ночью мне приснился кошмарный, ну, или просто дурной, сон с участием Отто, сон, очень точно воспроизводивший тот эпизод фильма, где Мари произносит эту фразу. И во сне разряженная атмосфера была в точности такой, как

в тот напряженный момент в «Великого Габбо». Только вместо Мари была Кармен, которая в бесформенном пространстве, отделявшем гримерку от сцены, сказала мне:

— Слушай, как странно, что ты пишешь роман Андера.

— Еще странней, — нашелся я, — что ты говоришь со мной, как сама с собой. Может, и ты подалась в чревовещатели?

Вглядевшись в нее повнимательней, чему не помешал ослепительный боковой свет, я увидел, что она и вправду стала чревовещателем в безупречном черном смокинге, а я — ее куклой, ее рабом и марионеткой, а кроме того — замечу мимоходом — тем единственным, что имелось в ней человеческого.

&

Если бы я переписывал «Старых супругов», то сохранил бы сюжетный каркас, но не верность диалогу между Бареси и Пирелли в баре базельского отеля, благо этим господам я бы поручал воплощать не напряжение, существующее между реальностью и вымыслом, а отношения в литературе между сложным и простым. Простое в данном случае — это то, что не представляет со-

бой повествовательных рисков, иными словами, обычное и общепринятое. А под сложным будем понимать нечто экспериментальное, представляющее трудности для среднего читателя и порою очень запутанное, как в свое время произошло с «Новым романом» и происходит сейчас с так называемой «Школой трудности»: эта тенденция предполагает, что все значимые этапы развития нашей космической истории мы рассматриваем как прыжки к новым уровням сложности.

Среди представителей «Нового романа», чьи произведения я некогда читал с интересом и спокойной способностью постижения, назову Натали Саррот и Алана Роб-Грийе. Среди представителей «Школы тредности» выделю прежде всего Дэвида Марксона и Уильяма Гэддиса. Это направление все еще живо и насчитывает среди своих приверженцев немало авторов, которые, не ища компромиссов, считают, что повествование — это процесс, чья конечная точка неизвестна. И с этим я более чем согласен. Отправная же точка меж тем совершенно очевидна и представляет собой добровольный отказ от традиционных идей, на которых и держится само понятие «роман». Идут попытки закодировать все в программу обновления этого жанра, совершить преобра-

зование, отвечающее необходимости придать ему форму, которая согласовывалась бы с историческими обстоятельствами нашего времени. Всю свою жизнь, то с большей, то с меньшей интенсивностью, я испытывал чувство, именуемое «эмпатия», по отношению к этой старой американской «Школе», которая никогда не отрицала, что возможность написать большой роман по-прежнему существует, однако не желала игнорировать, что трудности, с которыми сталкиваются романисты — и не только нынешние, но и жившие столетие назад, — сводятся к тому, чтобы не следовать в русле жанровой традиции, возникшей и окрепшей в XIX веке, но искать новые возможности.

Роман, по определению Мэтью Зеро, должен приноровиться к той многомерной неоднозначности, составляющей окружающей нас реальности. Стараясь вписать «Старых супруги» в этот тренд, то есть приспосабливая их к постоянно меняющейся реальности, я не упущу из виду слова того теоретика «сложности», которого, запамятовав его фамилию, я в начале этого абзаца назвал «Зеро». Кажется, это именно он просил, чтобы современный нарратив достиг уровня сложности, характерного для современ-

ных музыки и живописи. И приводил в пример показательный случай «Битлз», которых после того, как они выпустили альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», многие упрекали за чрезмерную усложненность их песен. Однако если бы «Битлз» застряли в своей первоначальной простоте, утверждает Зеро, они едва ли превратились бы в нынешних культурных идолов. И, учитывая, что даже самые старые их поклонники восторженно приветствовали эволюцию своих кумиров, хочется спросить, почему писателям не позволено то же, что поп-музыкантам.

Разумеется, чтобы осмелиться вписать «Старых супругов» в уже устарелую тенденцию к сложности, я должен обладать писательским опытом, для чего потребуется немало времени, даже если предположить, что сумею этот опыт приобрести.

Если когда-нибудь, в один прекрасный — и, вероятно, очень отдаленный — день я почувствую себя в силах переписать «Старых супругов», то сохраню каркас истории, однако преобразую нарратив в «драму для чтения» и отнесу ее к жанру комедии. Простота (Бареси) будет вести диалог со сложностью (Пирелли). Если со стороны первого все сведется к простоте столь же ошеломительной, сколь и — в строго определенных местах

— волнующе-трогательной, то со стороны второго не будет ничего, кроме сложности в больших дозах. Поскольку Бареси будет слишком хорошо все понимать, Пирелли постарается запутать его самым беспощадным образом и устроит форменный заговор против несчастного сеньора, простодушно подсевшего к нему у стойки бара.

Пьеса выйдет гротескной и комичной, потому что автор проявит как свою неосведомленность в жанре литературного эксперимента, так и неспособность написать лишенную остроумия и какого-либо смысла пародию на — как ему представляется — рассказ из «Школы трудности»: согласимся, что трудно представить себе что-нибудь гаже — перенесенный на сцену и на самом деле не дотягивающий даже до скверной пьесы из репертуара театра абсурда.

Уже на первом кадре «Старых супругов» читатель лопнет от смеха: в свете, свойственном полотнам художника Хоппера[54], на ледяной пустой сцене мы увидим двух неподвижных мужчин, Бареси и Пирелли, облокотившихся о стойку базельского бара возле окна, где в этот миг неоновая вывеска через полузадернутые шторы

---

[54] Примечания: 54

Хоппер Эдвард (1882–1937) — американский живописец и график.

вспыхнет лиловым цветом, осветит какие-то мертвенно-белые бумаги на стойке — так надо понимать, что это текст диалога, который поведут два столь спокойных сеньора, и у каждого будет своя роль: один вольготно расположился в мире простоты, другой столь же уютно — в мире сложности. Но нет, это только так кажется, ибо на бумаге пока ничего еще не написано, оттого-то у нее такой мертвенный оттенок, и оба персонажа всего лишь готовятся начать двигаться, как только получат инструкции от суфлера.

Однако этот самый суфлер, который традиционно помогает актерам, позабывшим слова своей роли или перепутавшим мизансцену, ни в коем случае не будет человеком. Вскоре станет ясно, что текст, по сути дела, обмен любовным опытом, будет подаваться из-за кулис и доходить до Барнези и Пирелли через монотонно-упорный стук капель, внезапно начинающих падать на клеенку под неприметным и неисправным радиатором в углу бара. И, стало быть, они, капли эти, заменяют устаревшего суфлера. И не только вызовут бурный смех, но и станут теми последними каплями, которые переполнят чашу смешного. И станет еще смешней, когда выяснится, что неисправный радиатор — на самом деле это

компьютер, помогающий каплям диктовать весь диалог между простым (Бареси) и сложным (Пирелли), так вот, неисправный радиатор обретает необычайно важное значение, потому что на своем жестком диске хранит полный этнографический материал, способный представить нашу эру в виде свода разнообразных значков.

И в этом начальном мгновенном оледенении, ставшим отправной точкой всего на свете, сидят неподвижно Бареси и Пирелли, готовятся разыграть лживую и гротескную пародию на «литературу трудности», а покуда никому не под силу ощутить подспудную агрессивность, которая проявится позже, ближе к финалу.

Пирелли, движимый самыми низменными намерениями, задумывает насилие над Бареси, а тот покорно и простодушно принимает подарок в виде «яванского зонта» и поднимается в номер с Пирелли, где и отдается ему к необузданному ликованию последнего, у которого, впрочем, еще хватает духу после совершения этой гнусности, чтобы в непринужденно-наукообразном стиле диссертации поведать своему обесчещенному другу о сложности бытия и о самых разнообразно-полезных свойствах зонтика, равно как и не менее разнообразных оттенках супружеских от-

ношений, сообщив утомленно, однако ликующе, что «в этом мире давали, дают и, поверь мне, Бареси, поверь и доверься моим словам, давать будут, хоть и неизвестно, сколько именно».

Примечание редактора: Считаю своим долгом вмешаться и заявить, что эти пресловутые многолетние супруги — вымысел и реальность — в тот день ожидали меня на веранде, когда, оторвавшись от редактуры дневника нашего Мака, я залпом выпил две чашки кофе, и произведенный ими эффект заставил меня читать воспоминания Пауля Клее о его путешествии в Тунис. В 1914 году, в компании своего друга и соперника, великого художника Юлиана Маке, он отправился повидать и запечатлеть на полотне новые места. Целыми днями они ели и пили. Завершая чтение, я убедился, что любимый цвет Клее — оранжевый. И, кроме того и поверх всего, вот эта фраза: «И здесь тоже владычествует вульгарность, хотя, конечно, исключительно из-за европейского влияния».

Только дочитав Клее, я обнаружил там и путевой дневник Юлиана Маке, хотя это могло быть и апокрифом, ибо художник погиб на Первой мировой войне вскоре после своего возвращения из Туниса и никаких записок о своем путешествии в

Африку не оставил.

В тексте Маке — позднее я узнал, что это — фальсификация, созданная Барри Гиффордом — изменены или исправлены многие эпизоды, рассказанные Клее. И это производит курьезный эффект, о котором я как раз думал неделю назад, когда спрашивал себя: если Мак когда-нибудь завершит свой ремейк мемуаров Вальтера, не будет ли он выглядеть подлиннее, чем оригинал Санчеса? Книга, которую я прочел сегодня, отличается своим стилем: дневник Юлиана Маке кажется более правдоподобным и достоверным, чем дневник Клее, быть может, потому, что тот рассказывает нам лишь то, что хотел бы, чтобы случилось с ним, тогда как у Мака все воспринимается как «прожитое взаправду» и неразрывно связано с реальностью. Я очень веселился, читая фальсифицированный дневник Маке: «Мое иррациональное предубеждение против Клее начинается с трубки», пишет он. А в другом месте: «За ужином Луи и Пауль ели, как свиньи, однако я их обставил».

38

В полдень я устал от экскурсов в такое далекое прошлое и в тиши своего кабинета тридцать раз написал в столбик девять букв, складывающихся в слово Wakefield, даже не написал, а каллиграфическим почерком вывел их на четвертушке бумаги в клеточку, а потом написал — опять же тридцать раз — на той же четвертушке поверх только что написанного те семнадцать букв — три из них — заглавные — которые содержатся в «Том, Кто Отсутствует».

Это, я бы сказал, апофеоз повторения. Буква, написанная поверх написанной буквы, написанной в свою очередь поверх уже написанной. Все это стало напоминать труды Тима Йуда, который перепечатывал на машинке классические произведения, но бумагу не менял, в результате чего роман становился «листком, залитым типографской краской».

Я увлеченно покрывал краской листок, когда с работы вернулась Кармен. И, думая, что я ее не вижу и не слышу, чему-то смеялась — сама с собой. Я не мог, разумеется, не спросить ее, с чего

бы это такое веселье.

— С того, что я успею помочь тебе, — ответила она. — Всегда хотела протянуть тебе руку помощи, да ты не брал. Этот лист ты измазюкал на славу. Нет, в самом деле, Мак Вивес Веин, мне нравится, как ты покрываешь кляксами бумагу, создаешь целые картины из этих разводов. Но, может быть, ты еще чем-нибудь займешься, а?

Когда она называет меня по имени и фамилии, я безошибочно угадываю: Кармен считает, что я сбился с пути. И тут уж ничего не поделаешь. Хоть я ей и рассказывал о моей удачной работе, сейчас ясно вижу: она по-прежнему уверена, что меня продолжает угнетать плачевный финал моей адвокатской карьеры. А ведь это не совсем так, по крайней мере, с какого-то времени. Однако она в силу своей твердолобости остается при своем прежнем мнении. И хорошо еще, что даже не подозревает, что я порой заигрываю с неотразимой прелестью самоубийства, хоть у меня и нет ни малейшего желания вступить на эту стезю. Счастье и в том, что она понятия не имеет, что я порой оцениваю варианты возможностей, о которых говорил Кафка: сделаться ли бесконечно малой величиной или быть таковой. И в том, что не знает, как иногда ночами я предаюсь опасным

размышлениям, пусть они и не опасней, чем у всякого смертного, который тоскует от сознания того, что одновременно и жив, и мертв.

39

Безразлично, что будет дальше – или ничего не будет.

Бернард Маламуд

В терминальной стадии своей жизни, то есть в начале 1961 года, Хемингуэй, герои которого — все как на подбор люди жесткие, крепкие, стойкие и очень «элегантно несущие свою тоску», вернулся из санатория к себе в Кэтчем. Чтобы развеселить его, ему напомнили, что он должен добавить и свою фразу в дарственную надпись на книге, предназначенную для вручения недавно избранному президенту Джону Ф. Кеннеди. Однако целый день работы ни к чему не привел, писатель не родил ни единой фразы и смог только написать: «Уже все и больше никогда». Он давно уже подозревал это, и вот теперь получил подтверждение. Он исписался.

Что касается элегантности тоски, то нельзя сказать, что к концу жизни он очень уж блистал ею. Пропитанный насквозь спиртным и смертоубийственным никотином, сопровождавшими его всю жизнь, он решил однажды утром разбудить

весь мир выстрелом, который знаменовал его развод с жизнью и литературой.

— На прошлой неделе он предпринял попытку самоубийства, — говорит о своем клиенте старый официант в, вероятно, лучшем рассказе Хемингуэя «Там, где чисто, светло».

А когда Мак, его юный напарник, спросил, почему посетитель хотел покончить с собой, старик ответил:

— Он отчаялся.

Этот рассказчик в неутолимой тоске покинул Кубу и вернулся в Кетчам, в дом, годный, чтобы в нем убить себя. Достаточно взглянуть на фотографии, чтобы убедиться в этом. И в воскресенье Хемингуэй поднялся очень рано. Жена еще спала, а он отыскал ключ от оружейного шкафа, зарядил оба ствола своего охотничьего ружья, приставил их ко лбу и выстрелил. И, как ни странно, оставил нам в своих книгах целую галерею героев — разных, но одинаково наделенных стоической выдержкой перед лицом невзгод. И влияние его творчества далеко за гранью литературы, ибо даже наихудший Хемингуэй напоминает нам, что для того, чтобы связать себя с творчеством, сначала надо связать себя с жизнью.

40

Что бы я изменил в «Долгом обмане» — в рассказе, где некий Баси — все указывает на то, что это Бареси, отец Вальтера — состоит во внушительной связи с могилой? Прежде всего я бы оставил эпиграф из Маламуда как дань взволнованного уважения к его «*Безразлично, что будет дальше — или ничего не будет»,* но пересказал бы эпизод в духе Кафки, то есть так, чтобы скрытая история проявилась, выйдя на поверхность, а вот историю видную и очевидную усложнил бы до такой степени, что она сделалась бы самой загадочной на свете.

В нужный момент рассказал бы отчетливо и ясно, что в могиле, где Баси похоронил свою жену, растет трава, своей яркой и сочной зеленью контрастирующая с чахлой растительностью снаружи. Но зато запутанно и туманно изложил бы, на какую нескончаемую бюрократическую волокиту обрек себя любовник жены Баси, добиваясь разрешения перенести прах покойной в другую могилу.

К печальному персонажу Баси я даже не при-

коснусь, оставлю его таким, как в рассказе, то есть вероятным отцом Вальтера и, значит, человеком, унаследовавшим яванский зонтик. Когда и ему придется заняться хлопотами по перезахоронению, я скрупулезно задокументирую все этапы этого бумажной канители. И с маниакальной обстоятельностью опишу все эти томительные проходы чиновников по нескончаемым галереям и коридорам угрюмого Дворца Правосудия.

Жизнь, если смотреть на нее через призму многотрудных административных действий предстанет, как уже сейчас предстает, средоточием самой зверской тоски, ледяным нагромождением бесконечных галерей и корпусов, забюрократизированных до зубов; неисчислимым множеством кабинетов и миллионами коридоров, которые покажутся безграничными и бесконечно унылыми, за исключением, разве что «Палаты безработных переписчиков», где несколько сотрудников изящным почерком будут списывать адреса и писать утерянные письма, снимать с них копии, переписывать, переписывать… Сотрудники эти будут похожи на людей прежних времен, и только благодаря им вся эта совокупность галерей и кабинетов будет казаться чуть менее унылой.

Но лишь немногие из тех, кто постоянно топчет

эти холодные коридоры, сумеет понять, что это последний редут прежней жизни на земле, редут, где сосредоточено потерянное и забытое, все, что еще в состоянии — бедственном, прямо скажем, но уж в каком есть, напомнить нам, что некогда писание двигалось по иным, не чета нынешним параметрам.

Покуда я произношу и записываю все это, мне кажется, что один из клерков, спрятавшись в самом потаенном углу последней галереи, завершает работу тем, что заносит на один из ста трех отдельных бумажных листов, которые, скорей всего, никто не смог сброшюровать из-за нехватки средств — три слова:

«Нет, больше никогда».

41

Утром, в ничего не значащем разговоре в ювелирном магазине братьев Ферре, Лижия между прочим упомянула, что Юлиан, флиртовавший с ней, вдруг ни с того, ни с сего вдруг сказал с удивительной для такого оборванца непринужденностью: «Вот же я буду торжествовать, когда ты узнаешь о моей смерти! Никогда прежде не будешь ты так любить меня, никогда еще не буду я занимать такое место в твоей жизни».

Лижия пересказала эту историю Делии, жене Санчеса, и та просто лишилась дара речи. Никаких племянников у ее мужа нет и не было.

— Ты уверена, Делия?

— Абсолютно.

&

В первом часу я попытался было переписать «Кармен», но не продвинулся дальше одного фрагмента, который непременно поставил бы в конец рассказа. Я притворился перед самим собой, что нет ничего удивительного в том, что я сочинил его, однако радость переполняла так,

что из ушей капала.

«Она по-прежнему и как всегда была очень хороша собой, хотя, по правде говоря, слишком много и в течение целого десятилетия таскалась по никому не нужным вечеринкам, где с идиотическим жаром и пылом отплясывала рок-н-ролл, выбрасывая свои могучие ноги в разные стороны и продолжая курить, пока в танце не добиралась до пепельницы, где и гасила окурок. Она по-прежнему была хороша собой, но лучшие годы жизни были уже промотаны и расточены. Тем не менее большая часть ее очарования оставалась пока при ней, а особенно: отчужденная грациозность ее поступи. Однако ее черный костюм, который она носила, не снимая четыре года, смотрелся все же странновато, не говоря уж о шелковых чулках, безбожно изношенных. Сквозь дыры на чулках этих — казалось, по ним можно узнавать будущее не хуже, чем по кофейной гуще — можно было разглядеть того скота, который когда-нибудь влюбится в бедняжку Кармен, женится на ней, а через два года после свадьбы проглотит приманку, весь распухнет и умрет».

Итак, я не продвинулся дальше этого фрагмента, однако убедился, что совершил некий рывок, потому что впервые не написал то, что потом

перепишу, а то, что так и пойдет. С чего-то же все начинается, подумал я и как раз когда потерял дар речи от своего подвига. Но удивился я в ту минуту, как, начав действовать, понял внезапно, чту же я чувствовал, когда вместо записи в дневнике написал прозаический фрагмент. Едва ли не смешно, что приходится говорить такое, но все же скажу: ощущения в обоих случаях — примерно одинаковые. Ну и что? Да, чувствуешь одно и то же. И это всего лишь подтверждает мнение Натали Саррот: писать — значит попробовать понять, чту написали бы мы, если бы писали. Потому что мы — я убежден, — так никогда и не начинаем писать, то есть, по-настоящему делать то, что называется этим словом. И, должно быть, поэтому я ощущал то же, что ощутил бы, попытавшись просто представить себе и написать о том, как бы я писал, если бы в самом деле писал.

Мы не пишем, в том смысле, что не испещряем лист бумаги загадочными значками, а не то, что узнаем или, вернее сказать, *пытаемся познать*. И творим без комплексов. Ибо, вопреки мнению тех, кто, разочаровавшись, ненавидит творческое начало, для достойного ответа на вызов воображения, вовсе не обязательно отрекаться от униженного смирения. Творчество — это раз-

влечение ума.

А в моем случае *попытка познать* приучила меня — на страницах этого дневника — к прелести теней, и я день за днем превращался в жизнерадостного читателя, которому порой нравится невидимое, прикровенное, скрытое за пеленой туч, тайное — и даже иногда доставляет удовольствие мыть лицо пылью цвета пепла, чтобы увидеть, возможно ли в глазах других казаться более серым.

&

Я просыпаюсь, плохо соображая, и иду сюда записать то единственное, что запомнилось мне из этого кошмарного сна, где кто-то настойчиво твердит мне:

— Смотри, в первом издании «Моби Дика» было двадцать пять страниц эпиграфов.

Решаюсь спросить: неужели такое необыкновенное количество это правда и, получив подтверждение, замираю, оледенев, будто на парашюте приземлился в Гренландии. Разумеется, я и раньше это знал да позабыл. Меня смех разбирал при одной мысли о том, что я еще думал блеснуть количеством эпиграфов.

42

Я сделал большой круг по всему кварталу Койот, стараясь понять, было ли что-нибудь между Кармен и Санчесом, притом что как раз сейчас был совершенно уверен, что ничего не было.

И все же я начал решать эту умственную задачу, ибо подумал, что, как ни глупо доводить до конца столь никчемное расследование, не говоря уж о том, с каким риском оно было связано — я мог бы выглядеть рогоносцем или сумасшедшим — я отдал бы все за хорошего служащего, который сумел бы заменить увлекательной историей занудный рассказ «Кармен», сочиненный Санчесом.

В конце-то концов, сказал я себе, если хочешь отыскать хорошую историю, надо идти на риск. Каждый писатель знает это, как и то, что каждый рассказ рискует стать бессмысленным, но без этого риска он вообще ничем не станет.

Сейчас я останавливаюсь, чтобы внести одно уточнение, и за него, уверен, сам дневник будет мне благодарен: когда я говорю «писатель», у меня создается впечатление, что по причинам, моему разумению недоступным, мне представ-

ляется человек, который снимает перчатки, разматывает шарф, сообщает птице в клетке, что нынче снег, потирает руки, вешает пальто на крючок, идет дальше и готов отважиться на все.

Если не отважится, никогда не станет писателем.

Этот человек с птицей в клетке, который приходит домой и вешает пальто на крючок, долго, на протяжении многих лет, был для меня самым ходовым воплощением писателя. Думаю, объясняется это тем, что в конце 60-х я посмотрел фильм Жана-Пьера Мельвиля «Самурай», где наемный убийца живет в глубочайшем одиночестве. Вот с тех пор этот образ меня сопровождает повсюду. Одинокий человек и птица в клетке — попугай-лори или еще какой-то, не помню точно. Образ человека, задавленного ледяной глыбой одиночества, но одновременно, опять же по причинам, определить которые не возьмусь, может быть, из-за перчаток или из-за возвращения домой — теплого.

Писатель подобен наемному убийце. И это объясняет, почему я когда-то при виде лже-племянника — он исполнял свою роль неоцененного таланта, писателя лучшего в мире, но покуда еще никому не ведомому — предложил ему наняться

в преступники.

Я вышел на долгую прогулку по Койоту, пытаясь найти такую историю, куда уместился бы уже написанный мною фрагмент из «Кармен», которым втайне так гордился: «Она по-прежнему и как всегда была очень хороша собой…»

Я вышел в полной уверенности, что на улице со мной запросто могут случиться события, которые отлично согласуются с этим фрагментом. Да и что бы ни случилось, мне все пригодится для того, чтобы создать портрет нынешней Кармен, увиденной глазами обитателей квартала.

Я вышел, зная, что рискую, но что лучшего пути у меня не остается, что надо рискнуть и превратиться в того, кто провоцирует истории, которые я буду искать во время этой прогулки, когда смогу снять воображаемые перчатки и не менее воображаемый шарф и увидеть, что же происходит внизу, на улице — увидеть, что происходит, покуда я буду задавать один странный вопрос.

Я намеревался, во-первых, поговорить с продавщицей в кондитерской «Карсон». Но прежде, проходя мимо «Вильяроэль», я наткнулся на всклокоченного белобрысого нищего — того самого, что когда-то возил за собой тележку из супермаркета и выпросил у меня немного мелочи.

Дверь была открыта, и можно было увидеть, что он лежит на полу, подстелив картонки и завернувшись в одеяла, — это летом-то! Завидев меня, он с изысканной вежливостью осведомился, не могу ли я ему помочь. А мне вновь показалось, что в прошлом я знавал его, но, быть может, этот эффект короткого знакомства проистекал от того, как фамильярно он всегда обращается ко мне. Или, быть может, от того, что я вижу в нем учтивую версию Юлиана-ненавистника, аверс, так сказать, злобного лже-племянника и потому раз от разу отношусь к нему все лучше. Я дал ему три евро, на что он сказал, что в прошлый раз было меньше.

— Какая расточительность, — докончил он.

Судя по тому, как идут дела, подумал я, этот нищий печется обо мне больше всех. А вслед за тем подумал, что этот фантасмагорический побирушка будто вышел из-под пера Аны Марии Матуте, где рассказ обретает форму бродяги, приходит то туда, то сюда, рассказывает свою историю, а потом уходит, неизменно оставляя свои следы — неизгладимые воспоминания.

«Какая расточительность», — повторял я, силясь понять, смешны ли были эти слова или было в них нечто трогательное, некое душевное движе-

ние со стороны человека, который озабочен моим финансовым положением и чувствует, что оно далеко-далеко не столь блестяще, как кажется.

Свернув за угол по пути в «Карсон», я повстречал старого и явно сумасшедшего бродягу, которого никогда не видел раньше: он напевал какую-то песенку весьма шокирующего содержания, и я осознал, что в наши дни нигде, даже во внутренних двориках домов в нашем квартале, она больше не звучит. А вот в детстве моем эта традиция была глубоко укоренена, песенку эту распевали повсюду, хоть и я не знаю, по этой ли причине Барселона была веселей и раскованней. Бродяги тоже — неотъемлемая часть города с весьма своеобразной традицией, раз уж современный ее герой — это бродяга, он же — архитектор Гауди, человек сварливого нрава, вечная мишень для насмешек из-за своей манеры одеваться. Гениальный зодчий, прославивший свой город, погиб под колесами трамвая и, поскольку вечно ходил в отрепьях, был принят за нищего. Кондуктор вылез и оттащил бездыханное тело в сторону, и ни один прохожий не пришел на помощь тому, кто ныне признан национальным героем Барселоны. И тайная, бессознательная причина ее колдовского воздействия на всех, кто оказывается в этом

городе, кроется в бродяжьем духе величайшего гения, когда-либо жившего там.

Тут я дошел до «Карсона», где провел свой первый допрос. И дальше уже расспрашивал не переставая, хотя довольно часто избегал прямых вопросов и применял столь диковинно увертливые околичности, что и не похоже было, будто я о чем-то спрашиваю. Думаю, весь квартал решил, что я мало того, что спятил, но и решил потешить себя безумными развлечениями, как бы отмечая этим празднеством сорокалетие жизни в Койоте.

Да, я спрашивал: у булочника, дружившего с Кармен, у сумасшедшей цветочницы — важной персоны — у супругов, торгующих в табачном ларьке, у парикмахера Пьера, у Лижии, у Хулиана (из бара «Тендер»), у братьев Ферре, у туповатого парня, заменявшего (на день) киоскершу, у адвоката, с которым дружил с тех пор, как вместе изучали юриспруденцию, у трех аптекарш, у таксистов, стоявших на улице Буэнос-Айрес, у кассирши из «Калигари»…

Никто ничего не знал о Кармен и Санчесе, никто никогда не видел их вместе. Но эти наглухо закрытые рты или, иначе говоря, этот заговор молчания, меня не устраивал, потому, наверное, что не давал материала для рассказа под

названием «Кармен», который, возможно, будет написан. Тем не менее квартал хранил молчание. Было то, что было, и только это: никто ничего не знал и не ведал, да и странно было бы ждать иного. В довершение бед абсолютное большинство опрошенных полагало, что я шучу, а исключение составлял заменитель, то есть заместитель киоскерши, который вообще отказался со мной говорить, ибо, по его словам, с полицией дела не имеет.

Зной стоял совершенно невыносимый. И вдобавок я разволновался от того, что меня приняли за полицейского. Я присел на веранде «Конго» выпить по рюмочке с приятелем-адвокатом, к которому — по той, быть может, причине, что мы знакомы с юности — питаю доверие и рассказываю ему едва ли не все. Со своим всегдашним юморком он осведомился, не пытаюсь ли я на самом деле установить, что все вокруг нас — сплошная и огромная подделка, обман зрения, мгновенно накатывающее безумие наподобие того, что пережил я однажды, когда, подумав, что из примерочной в швейном ателье в квартале Койот исчезло зеркало, вышел прямо в гроб.

— Какое отношение имеет моя жена к портному на Койоте? — сказал я.

— Ты и портного подозреваешь? Мак, ты ужасен.

&

ЭФФЕКТ РАССКАЗА

Немного погодя докатился я и до «Тендера». И все еще пребывал в сильном волнении. Потому что в «Конго» пришло мне в голову, что шутейная фраза моего приятеля содержит в себе чистейшую правду. Кармен изменяет мне с портным. Связь эта тянулась уже несколько месяцев, если не год с лишним. Невозможно себе представить, что моя рука выведет эти строки: «Итак, я внезапно узнал, что долгое время жил посреди крупного обмана».

Это, кстати, кое-что объясняет. К примеру, почему тогда, в примерочной у проклятого портного я был так близок к самоубийству.

— Продолжаете бастовать? — спросил меня Юлиан с другого конца стойки.

Месяц назад я признался, что нахожусь в простое, и он, значит, этого не забыл.

— Уже нет, Юлиан. Теперь работаю модификатором.

— И что же вы модифицируете?

Юлиан был сбит с толку, да и я тоже, но в этот миг в бар вошел довольно гнусного вида бородач средних лет, назвался Тараумарой[55] и двинулся от столика к столику, прося подаяния таким вызывающе высокомерным тоном, что правильней было бы сказать не «просил», а требовал причитающееся ему по праву. Потеряв терпение от этого нахальства, Юлиан спрыгнул с табурета у стойки, намереваясь выбросить нищего вон. Я не очень внимательно следил за развитием событий, потому что мысли мои были заняты недавно обнаружившимися сведениями о Кармен. Я представления не имел о том, что делать: может быть, следовало, подобно Вальтеру, отправиться в Счастливую Аравию или вроде того. Уверен, что никогда еще я не чувствовал себя таким потерянным, хотя по здравом размышлении признаю, что несколько месяцев кряду бессознательно искал доказательства ее измены, чтобы получить законный мотив для отъезда, для бегства в Уэйкфилд.

Меж тем Юлиан уже орал на нищего, стараясь выкинуть его из бара на улицу. Боже, подумал я, с каким непомерным старанием он оберегает

[55] Примечания: 55

То есть — представитель одноименного индейского племени, проживающего на северо-востоке Мексики.

покой посетителей.

На дворе экономический кризис, с каждым днем разгорающийся все жарче. Телевидение же, контролируемое правящей партией прорвавшихся к власти коррупционеров, пророчит, что скоро все будет хорошо. И посреди всего этого человек ясно видит, что ему лгут столь же бесстыдно, сколь и безудержно. А революция, несмотря на такое положение дел, все никак не грянет. Однако тишком крадется по кварталу, где кризис ко всему прилипает, все пропитывает и не позволяет, чтобы все шло своим чередом и прежним порядком, и побуждает Тараумару потребовать свое.

43

ВИЗИТ К УЧИТЕЛЮ

Я побывал у своего наставника, у грозного Клерамунта, и там все напоминало одну из тех грез, один из тех снов наяву, где мы с горящей свечой в руке бредем по рассыпанному пороху. От одного того, что мне пришлось шагать по улицам Дорма, уже можно понять, что я нахожусь в самом начале долгого бегства: как если бы я убил портного из квартала Койот и, внезапно обернувшись Вальтером, вновь залитым кровью, осознал, что ничего, кроме бегства, мне не остается.

Я трижды постучал в дверь огромного запущенного дома, и мне открыл человек, лучшим творением которого было расписание. Вид у него был зловещий: шарфы и шали поверх черного парусинового костюма, пятидневная щетина, единственный глаз смотрел так, что наводил страх. За домом, в огороженном проволокой пространстве, прыгали и лаяли его остервенелые псы.

— Я их держу *шума ради*, — повторил Клерамунт.

Но и на этот раз, как и множество раз, увиденных во сне, я знал значительно больше, чем следовало бы ожидать от меня. Знал, к примеру, что внешность обманчива и человек этот вовсе не так ужасен, каким его изображают, а равно и тому, что лучшее его творение — расписание. А так ли важна эта подробность? Без сомнения, важна, потому что удачно сбежать, совершив преступление, можно лишь располагая таким же гибким и вольным графиком, каким пользовался мой обожаемый наставник. Учитывая, что я убил портного, неограниченное свободное время — непременное и важнейшее условие успешного побега.

Я сидел с ним, я говорил с ним о собаках, об оглушительном шуме, ими производимом, и о том, сколь полезны они в деле охраны дома. Кларамунт ерзал на стуле и твердил, что решительно возражает против всякого звука, выражающего агрессию. Явное противоречие не слишком поразило меня. За первым последовало и второе, когда Кларамунт сообщил, что его восхищает тот звук, который в древности внезапно нарушил безмолвие первозданного хаоса, и не меньше восхищают, добавил он с особым нажимом, те исполины, которые должно быть, были первы-

ми учеными человечества и сумели изобрести самое поразительное из произведений искусства, а именно, грамматику. Сколь чудесны были, продолжал он, все те, кто придумал *члены предложения*, те, кто изобрел существительные, прилагательные и местоимения, разделил по родам и числам, а глаголы — по временам и залогам.

— Когда пишешь, — говорил Кларамунт назидательно, а оттого — очень веско, — ты не должен даже самому себе говорить, будто знаешь, что делаешь. Ты должен писать с той точки зрения, которая объемлет твой собственный хаос, ибо именно из него родилась на свет первая молитва, что и произошло, когда явилось на свет первое чувство — песнь Соломона.

— Соломона?

Вслед за тем я узнал, что «песнь Соломона» может одновременно значить многое и разное, но в данном конкретном случае имелось в виду устное повествование, то есть первый в мире рассказ. А ты, сказал мне Кларамунт, должен продолжать свои воспоминания и следовать своим путем. Да я и продолжаю, отвечал я, но только путь этот какой-то уж очень окольный. И убегать, добавил он, убегать и скрываться. Да ведь я и

бегу, объяснил я.

— Мак, Мак, Мак.

Я не знал, от чего именно хотел предостеречь меня голос мертвеца, но от чего-то точно предостерегал.

— Чего ты втянул голову в плечи? — спросил Кларамунт.

Голос его прозвучал как-то странно.

— Чего ты съежился? — настойчиво допытывался он.

Я уже догадался об этом, но сейчас убедился со всей непреложностью — его голос был неотличим от голоса мертвеца, поселившегося у меня в голове.

Беги как можно дальше, сказал мне Кларамунт, оставь позади город, пока тебя не обвинили. А я спросил тогда, в чем же меня могут обвинить. Спасайся, сказал он, и стань многоликим, говори с теми остальными, что есть в тебе. Беги, не позволяй им внушить тебе, что однажды ты не станешь всеми голосами мира и что станешь наконец самим собой и спутаешь свой голос с голосами всех остальных.

Тут я понял, что это не у моего учителя такой же голос, как у мертвеца, а это он и есть самый что ни на есть мертвец.

— Мак, Мак, Мак.

44

Уйти в чем был или уйти в чем был, но прихватив кожаную сумку в стиле Петрония, то есть сообразно с тем, что ты написал, или с тем, что прочитал. И в этом бегстве, грозящем потерей всего, отразится, само собой, любимая история моего отца — история о том, как во время Гражданской войны в Испании была занята большая усадьба. Владельцы долго прятались в подвалах господского дома, а потом сумели выбраться и спастись. Когда мой отец со своими однополчанами захватили всю усадьбу, появился однажды утром какой-то солдат их же армии, назвался братом хозяйки и попросил разрешения забрать писанный маслом маленький портрет сестры, висевший на стене в спальне. Просьба эта обратила мысли моего отца к вопросам собственности и к тому, как в минуты, когда все идет прахом, возвращаемся мы в родной дом и хотим спасти всего лишь маленькую картину, а все прочее нам безразлично.

Уйти в чем был, прихватив из дому лишь книжечку Чарльза Лэмба «Меланхолия портных»,

где рассказывается, сколь присуща меланхолия модельерам нашего квартала, с чем мало кто решится спорить, а согласится даже Пьер, который вот уже час стриг меня, покуда я размышлял на тему ухода из дому в чем есть, включая в это понятие и смерть, следующую за мной как пришитая, как будто, да не «как будто», а взаправду, это «моя собственная неприятность», самая сокровенная из всех.

Это Рильке, кажется, говорил о «своей» смерти как о высшей неурядице?

Я размышлял об этом: о том, в чем же все же я уйду, а одновременно неотрывно читал репортаж по итогам матча «Севилья» — «Барса» в Тбилиси. И думал о своем «бегстве в одной сорочке» и мусолил эту спортивную страницу, как вдруг меня буквально загипнотизировал флакон с лосьоном для волос «Флойд», который Пьер вдруг показал мне в чаянии завершить стрижку этим финальным аккордом. Поскольку аромат «Флойда» неизменно напоминал мне о моем дедушке, приверженном этой марке, я резко перевернул страницу — исключительно, чтобы как-то отреагировать — и оказался в разделе «Культура», где с удивлением обнаружил статью Жоана Лейвы, начинавшуюся с того, что хотя Андер Санчес в

представлениях и не нуждается, он все же скажет так: «Это было бы столь же излишним, как объяснять, кто такой этот осязаемый человек, чьи книги мы можем прочесть, чьи движения мы можем наблюдать в сети, чей голос мы тоже могли бы слышать. И все же мне кажется уместным охарактеризовать его, ибо речь идет о личности ирреальной, которая то возникает в придуманных им книгах, то исчезает из них. Главный, высший герой их — существо, существующее ради того, чтобы не существовать — нечто вроде дуновения, не рассеивающееся в воздухе».

Особенно меня рассмешило это дуновение, потому что это было в самое, как говорится, «яблочко». Потому что Санчес уже давно носится с идеей покинуть Барселону, однако неизменно возникает впечатление, будто он пытается исчезнуть, парадоксальным образом оставшись. А вот Юлиан никому никогда не морочил голову идеей исчезновения, но он уже несколько дней пребывает неизвестно где, и с тех пор, как был разоблачен, в буквальном смысле духу его нет в квартале Койот. Так кто же он все-таки такой? Он испарился, и теперь не спросишь. Разве что можно немного узнать о нем, прочитав незабываемые

слова Даниэле дель Джудиче[56] «Уимблдон»: «Может быть, он обнаружил, что потерпел крах. Меж тем, крахом была вся жизнь его».

Такое случилось и час назад. Я услышал какие-то звуки, словно обитатели квартиры над парикмахерской принялись перетаскивать чемоданы. Продолжалось это несколько секунд, пока я не спросил себя, да уж не сам ли я придумал этот шум, раздающийся в моем, так сказать, чердаке, и не сам ли я там ворочаю чемоданы бытия.

— Мак, Мак, Мак.

Голос мертвеца пытается исправить меня. Ты волочишь за собой, говорит он, невозможность определить, прикончил ты портного или нет, что, в сущности, одно и то же, останется ли твое преступление несовершенным или ты так и не соберешься совершить его, и я в любом случае ускользну от тебя.

Я слышу это, и мне кажется, будто за стеной парикмахерской сидит на полу человек: длинные ноги его обуты в грубые башмаки, а лицо — воплощение самой низменной зависти.

Думаю, мне достаточно было бы крохотной дырочки в стене, чтобы взглянуть на него и тот-

[56] Примечания: 56

Даниэле дель Джудиче (1949–2021) — итальянский писатель-авангардист.

час увидеть этого ядовитого человека, который всегда притворяется, будто ему совершенно безразлично, что он не наделен творческим даром, но именно по этой причине брызжет ядом, прямым вмешательством отравляет жизнь окружающих, терроризируя их своим негативизмом, выдаваемым за критический склад ума.

Но, пожалуй, лучше было бы забыть о человеке на полу. Так твердил я себе по дороге домой, но свернув за угол «Балтимора», увидел троих молодых, но уже зрелых классиков, которые не нашли себе места в жизни и сидели на земле, вытянув ноги. Мне показалось, что таких вяло-безразличных лиц не может быть у революционеров-подпольщиков. Может быть, это неведомые гении, но они вроде бы не обладали энергией, которая при правильном использовании стала бы основой нового движения в нашем квартале. Во всяком случае, это были не те парни, что сопровождали племянника-ненавистника в день нашей с ним первой встречи. Однако сильно смахивали на них: походили до такой степени, что я едва не спросил у них, куда это запропастился террорист-негативист Юлиан. Так или иначе, подтверждаю, что создается впечатление, будто кризис заполнил наш квартал непонятыми гениями.

— Беги, Мак.

45

Чем объяснить этот интерес к Марсу? Меня вот, к примеру, он нисколько не интересует. А вот Кармен от него просто с ума сходит. Да и не она одна, разумеется. Марс многих влечет к себе, потому что там есть гравитация, есть атмосфера, есть круговорот воды. Кроме того, эта планета древнее Земли, и, может быть, источник жизни находится именно там.

Источник жизни! Меня ведь это тоже касается, раз уж я так интересуюсь происхождением рассказов. Должно быть, поэтому я в тот вечер согласился вместе с Кармен посмотреть по телевизору старый фильм (категории В) про марсиан. Но перед этим, само собой, едва удержался, чтобы не спросить, почему бы ей не насладиться кино вместе с подлым портным, а меня оставить в покое. Но все же, закусив губу, я предпочел не обнаруживать свою осведомленность и выиграть время, чтобы обдумать правильное решение, которое приму своевременно и не испорчу поспешной и чересчур бурной реакцией.

В «Убийцах из космоса», снятом в 1954 году,

главный герой — ученый-атомщик, погибает в авиакатастрофе, однако некие инопланетяне воскрешают его и делают своим шпионом. Мы с Кармен смотрели и попутно ужинали. Еда не лезла мне в горло, потому что портной мерещился мне даже в супе — да, вот именно, в холодном супе, открывавшем нашу трапезу. Я сдерживался изо всех сил, полагая совершенно бесполезным делом начинать с упреков в неверности и тем более — обрушивать град уничижительных фраз по адресу модельера.

Мы мирно отужинали и по окончании фильма отправились на кухню мыть посуду. Кармен мыла, а я вытирал. Все вроде бы шло гладко, как всегда, когда я решаю принять посильное участие в домашних делах. Все шло гладко, без происшествий до тех пор, пока Кармен не завела речь о волонтерах «Марс Уан Фаундейшн» — организации, которая к 2022 году планирует отправить людей на Красную планету и основать там первое внеземное поселение. По их расчетам, продолжала она, полет займет семь месяцев, а жить там они будут в палатках площадью пятьдесят квадратных метров и сами добывать себе пропитание. Особенность этой экспедиции в том, что планируется путь в один конец, то есть

только «туда», и участники дадут подписку, что предупреждены — «обратно» не будет.

От всего услышанного мне захотелось расхохотаться, но также и зарыдать, особенно когда Кармен дала понять, что она бы с дорогой душой подписалась на это путешествие в один конец. На тот случай, если именно это ей хотелось сказать мне, я ответил, что, по моему скромному мнению, мне кажется, что только человек, не в полной мере отдающий себе отчет в своих действиях, способен вызваться для полета на другую планету, зная при этом, что никогда не вернется на Землю.

— «Не в полной мере» — это ты что имеешь в виду? — тотчас спросила она.

Я понял, что сейчас все запутается непоправимо, и будет хуже, чем цунами со стометровыми волнами на Марсе.

— Беги, Мак, — услышал я голос.

И, не глядя на Кармен, принялся проворней вытирать тарелки. Она тоже старалась не встречаться со мной глазами, но вдруг разомкнула уста для сообщения, что все же запишется в «Марс Уан Фаундейшн». И принялась объяснять, что в ее годы претендовать на место кандидата в астронавты может выглядеть экстравагантно,

однако она убедилась, что это не так. В конце концов, продолжала она, это было мечтой всей ее жизни, и она надеется, что я не стану чинить препятствий. Я видел, что глаза ее блестят и вот-вот прольются слезами. Чинить не стану, сказал я, мысленно проклиная ее бредовую страсть считать себя человеком науки, а не литературы, как если бы для утверждения своей личности надо быть полной противоположностью моей.

— Ты в самом деле не станешь возражать?

— Нет, не стану.

В конце концов, повторил я за ней, чтобы не рассвирепеть окончательно, я — Вальтер или, быть может, всего лишь стараюсь чувствовать себя Вальтером, однако дело все в том, что не следует преувеличивать ужасающий замысел моей жены. И тотчас предложил перемыть и вытереть всю оставшуюся посуду. Предложение было принято Кармен столь стремительно, что уже быстротой, что уже через несколько секунд я остался на кухне один — полновластным хозяином своей судьбы. Вытер стол тряпкой, а потом, раз уж начал, вымыл пол. Взял пакет с мусором, выставил было за дверь, но, после краткого раздумья, вынес на улицу. Ночь была очень сырая и замечательно звездная.

Свет в квартире не горел. Кармен была в ванной. Я подошел к двери и сказал, что это никакая не месть, но я тоже подумываю о путешествии в один конец. Не на Марс, а поближе, в деревню возле оазиса на краю пустыни — я недавно нашел ее, и, кажется, на картах место это не обозначено.

Кармен спросила, о чем это я.

— О том, что отправляюсь в никому не ведомую пустыню — и тоже без обратного билета.

Вместо того чтобы всполошиться от этой новости, она удивилась, что мой голос звучит как-то непривычно:

— Почему у тебя такой голос, Мак? Чужой какой-то…

Да нет, это мой голос, просто он все лучше приспосабливается к личности, которой я наделил Вальтера. Вот только мне и не хватало осложнить себе жизнь и пуститься в объяснения.

— Откуда? — повторила она.

Я понял, что скандал неминуем, и даже не попытался избежать его. Напротив, осведомился, не будет ли она возражать, если я, когда вот-вот разгорится наша оживленная дискуссия, буду записывать все сказанное, потому что потом мне приятно будет поразмышлять о случившемся.

— Ты хочешь записывать то, что мы скажем

друг другу в запале? — чрезвычайно запальчиво спросила она.

И цунами обрушилось на Марс.

46

35 — это перевернутое 53, и это число заставило меня задуматься о том, как мало времени понадобилось Стендалю, чтобы создать «Пармскую обитель» — свой главный роман. А тридцать пять — это возраст, до которого дожил скончавшийся сегодня Альберт, хозяин булочной на углу. Он умер не от жары, обрушившейся на Барселону в разгар самого знойного за последние сто лет лета. Его сгубил нелепый выход из дому, тот отчаянный шаг, на который решаются иные: на рассвете, возвращаясь домой, он глупейшим образом попал под машину, чему виной стала, наверное, лишняя порция джин-тоника, выпитая перед тем, как покинуть «Императрицу», самый гнусный бар во всем Койоте.

Я подумал о ломкости и в сущности — о ненатуральности обволакивающей нас атмосферы, которая вовек не сможет даже притвориться своей, созданной специально для нас, и еще об этом безотчетном ощущении бездомности, неприкаянности, отсутствии уюта, словом, всего того, что вызывает в нас неодолимое желание вернуться

домой, как будто такое возвращение возможно. Уоллес Стивенс, адвокат и поэт, сформулировал это гораздо удачней: «Вот откуда берется росток стиха: место, где живем мы — не наше, и больше того — оно — не мы, и тяжко это, несмотря на славу былую».

Лица, которые вижу в квартале Койот, а потом вдруг перестаю видеть, а когда через несколько месяцев вспоминаю их, мне горько сознавать, что их посетило нечто непоправимое, а то, что они не были ни моими друзьями, ни хотя бы знакомыми, может, быть может, символизировать самую суть бытия, хоть я и не вполне могу уразуметь это.

Постоянные, ежедневные крушения. Весь квартал Койот полон людьми, которые то были-были, а на следующий день исчезли. «Что сталось со всеми, кто составлял часть моей жизни оттого лишь, что я видел этих людей снова и снова? Завтра, быть может, исчезну и я с улицы Прата, с улицы Доурадореш, с улицы Фанкейруш и тоже превращусь в того, кто больше не ходит по этим улицам…» — как писал Фернандо Пессоа.

И чувствую, как в самом разгаре этого барселонского лета — по официальным данным, самого жаркого в истории и уже названного «индийским» — меня от этих мыслей пробирает озноб.

47

СОСЕД

Утром — плотная работа за письменным столом. Я решил посвятить утро описанию того, как инкогнито совершил блиц-визит в Лиссабон. Остановка по пути в деревню под Эворой, где я наверняка услышу в каком-нибудь баре приглушенный полусекретный разговор завсегдатаев, который — как я воображаю — будет вертеться вокруг юного иудея и мертвой кобылы. Я довольно долго описывал это первое движение путешествия, лиссабонское движение, но потом пришел к выводу, что зря трачу время, написанное никуда не годится и надо все начинать сызнова, но прежде надо выйти на улицу подышать свежим воздухом, причем как можно глубже.

Мысли у меня в голове прыгали и скакали, как шарики в лотерейном барабане, гудевшем, как барабан турецкий. И внутри роились разнообразные тени и вились лабиринты, связанные с «бегством в одной рубашке» Вальтера. Более того, я был так глубоко погружен в это бегство, что подумал — дойдет ведь и до превращения в

Вальтера, если ко мне и со мной будут обращаться, как если бы я был настоящим Вальтером, а ведь мне уже почудилось, будто это произошло, в тот день, когда у дверей «Ла Субиты» я встретил Санчеса, который держался со мной так, словно я был одним из его несчастных персонажей.

Вернулось прежнее впечатление, что мой сосед непомерно тщеславен. С чего бы? Оттого ли, что благодаря телевизору приобрел некоторую популярность? Оттого ли, что кокетничал с идеей стереть себя с карты, подобно Роберту Вальзеру[57], хотя на самом деле тот онемел, вернее, замолчал из-за извилистых швейцарских троп и, главным образом, из-за своих «микрограммов», а этот продолжает пожинать лавры, собирая богатый урожай низкопробных премий и наград.

Я спохватился, что рассуждаю, как злейший его враг. И ясно, что чувствую себя униженным его деятельностью.

В какой-то момент я не сумел сдержаться и спросил, почему он назвал своего героя Вальтером: по созвучию с Вальзером или в честь

---

[57] Примечания: 57

Роберт Вальзер (1878–1956) — швейцарский писатель, на определенном этапе своего творчества начавший создавать «микрограммы», отрывки стихов и прозы, написанные остро отточенным карандашом микроскопическими буквами, почерком, невозможным для прочтения постороннему.

Вальтера Беньямина? Хотя речь шла об имени чревовещателя, ныне очень далекого от него, он не замешкался с ответом.

— Понимаешь, — сказал Санчес с широкой улыбкой, — я дал ему имя чернокожего бразильца Вальтера Маседо, нападающего из «Валенсии», безвременно погибшего в автокатастрофе. В детстве только карточки Вальтера не хватало мне для полноты коллекции.

Я подхватил бы его смех, если бы не убедился в очередной раз, что даже в том, как Санчес смотрит на меня сверху вниз, сквозит нескрываемое пренебрежение, словно я даже не подозреваю об этом, и мне нравится терпеть и сдерживаться, унижения — сносить, а бремя ученичества в сфере «тайного знания» — покорно нести. Поступи я так, Санчес был бы сбит с толку и решил бы, что я — настоящая дохлятина, бывший адвокат и сущее ничтожество.

— А вот интересно, — сказал он. — Мне тут шепнули, что некто выдает себя за моего племянника, и ты якобы его знаешь. Как такое может быть?

— Что «такое»? Что я его знаю?

— Нет, что кто-то говорит, будто он мой племянник.

В этот самый момент я понял, что напрасно

считал, будто хорошо знаю Санчеса, на самом деле он мне неведом. Вероятно, я допустил эту оплошность оттого, что столько дней был с головой погружен в мир его давнего романа. Санчес посмотрел на меня как бы через плечо, когда я в безотчетном порыве сказал ему, что от лже-племянника узнал, будто тот уже несколько недель перерабатывает «Вальтера и его мытарства».

Никогда не забуду этот взгляд, где изумления и ужаса было поровну.

— Я не ослышался? — спросил он.

— Судя по всему, он изменил сюжет романа и особенно сильно — рассказ под названием «Кармен». Так, по крайней мере, он сказал при нашей последней встрече. По его словам, созданная им версия затмит мемуары Вальтера.

— Помедленней, пожалуйста, — попросил Санчес. — Повтори последнюю фразу.

— Взаимоотношения повторения и литературной основы — это стержневая тема в опусе твоего племянника.

— Ничего удивительного, что он попытался повторить мою книгу, — ответил Санчес.

И засмеялся. Захохотал, как говорится, во все горло.

Он был так заносчив и самодоволен, что я ре-

шил испортить ему праздник.

— Твой племянник задался целью подтвердить, что ни один роман на свете не доходит до нас в завершенном виде и что нет такого текста, который можно считать дописанным окончательно.

— Но ведь он мне никакой не племянник. Это — для начала, — сказал он и стал разглядывать меня сверху донизу тщательно и скрупулезно: похоже было, что он подумал обо мне то же самое, что я о нем минуту назад, а именно, что не надо считать, будто хорошо знаешь своего соседа.

И я объяснил ему, что для его мнимого племянника в истории литературы существует целая вереница книг, сборников рассказов, к примеру, которые никогда не займут окончательно какого-то определенного места и потому все они пригодны для нового оборота сюжетной гайки.

Санчес снова расхохотался от души: ему, как видно, понравилось сказанное мной. Вот не знал, сказал он, что ты так заковыристо выражаешься. Это было мне обидно, но я сделал вид, что нисколько меня не задело. Можно было бы спросить его, не решил ли он, что мои безропотность и смирение — приметы идиотизма? Однако я предпочел притвориться, будто не расслышал пренебрежения, хотя — отрицать не стану — по-

старался как-нибудь уязвить собеседника.

— Твой племянник затевает все это, чтобы отомстить, не знаю за что, — сказал я. — Когда я впервые его увидел, он показался мне чем-то вроде парижского *клошара*, потом — *клошаром* умным, и наконец выяснил, что он всего-навсего он субъект сомнительный и завистливый, а на самом деле зовут его Педро, а работает он, выполняя поручения другого Педро, портного из нашего квартала. Знаешь такого?

— Кого?

— Портного.

— Разве у нас в квартале есть портной?

Я сообщил, что эта разновидность храброго портняжки давал много денег мнимому племяннику, чтобы он под предлогом того, что создает вольный пересказ мемуаров Вальтера, воспользовался этим и коренным образом переписал рассказ «Кармен», что интересовало портного больше всего.

— Ну, а мне-то какое дело до этого? — снова посмеиваясь, спросил Санчес.

— А такое, что он через посредство твоего племянника хочет отомстить тебе за интрижку, которую ты когда-то завел с настоящей Кармен.

Но даже произнеся это, я не сумел добиться

того, чтобы веселость его улетучилась. Напротив, он захохотал еще пуще.

— То есть портной — это ее любовник? — выговорил он наконец.

Намеренно или нет, но вопрос был направлен и попал в то самое место, где я в конце концов увидел себя таким, каким был на самом деле — обманутым мужем. Впрочем, надо отдать мне должное: я этого добивался, я в это с готовностью поверил и в конце концов сам запутал себя в этой сети.

Самое нестерпимое заключалось в том, что Санчес смеялся без умолку, словно нечто такое, чего я не смог уловить, вызывало у него этот неудержимый и нескончаемый хохот.

Однако волей-неволей надо было ответить на его вопрос. Скажи я «нет, портной не был любовником Кармен», остался бы тем, кто есть — рогоносцем. А скажи «да», — им же.

— Еще твой мнимый племянник говорил мне, — вдруг выпалил я в упор, — что каждый раз, перечитывая главу о похождениях Вальтера, он хотел выкопать тебя из могилы и размозжить тебе череп твоей же берцовой костью.

Мое заявление доставило ему огромное удовольствие, а меня заставило ощутить непрелож-

ную надобность поставить его в тупик.

— Встречу его, убью, — неожиданно сказал он, и на несколько секунд лицо у него сделалось мрачным.

Я слегка струсил.

— Убью, — повторил он.

Я подумал, что мне пора убираться — начинать без промедления «побег в одной сорочке». Уйти из дому в стиле Петрония с одной кожаной сумой за плечами. Или в последний раз сказать Кармен, что спущусь в «Тендер» за сигаретами, и не вернуться. Или в меру скромных своих сил почтить память героя квартала Койот Хосе Мальорки, который жил в одном доме с Санчесом, принял легендарную смерть от собственной руки, а перед тем оставил немудрящую записку: «Больше не могу. Кончаю с собой. В ящике стола — подписанные чеки. Папа».

Однако самоубийство всегда порождало во мне сомнения, потому что, размышляя о нем, я неизменно вспоминаю, как один человек, оттолкнувшись ногами от стула и прыгнув в пустоту, почувствовал лишь, что петля все туже и крепче привязывает его к бытию, с которым он намеревался расстаться.

— Если я правильно понял, — прервал Санчес

цепь моих размышлений, — у меня теперь два смертельных врага, причем оба — Педро.

— Именно так, — подтвердил я.

И хотел добавить: «Два врага — петля и пустота».

Но предпочел нечто совсем другое и сказал ему, что есть такие рассказы, которые проникают в нашу жизнь и продолжают свой путь, смешиваясь с нею.

И снова услышал взрыв хохота. Воистину громового. Вчуже было неловко смотреть на оглушительный эффект, произведенный моими словами. И, наверно, сильней всего раздражало, что он был убежден, будто его «мнимый племянник» в самом деле был мнимостью и не существовал вовсе.

48

Сгущались сумерки, а когда я двинулся по Руа ду Сол, внезапно, как это бывает в тропиках, стало совсем темно. Но я-то был ни в каких не тропиках и вполне отдавал себе отчет в своих действиях: был настороже на случай возможных опасностей, подстерегающих пешехода на этой улице, шел, думая о себе, точнее, о своей судьбе, и все время старался не улыбаться, потому что при каждой улыбке казался еще печальней. Не хотелось бы выдавать себя прохожим. И тут я спохватился, что у меня ведь есть маска арлекина. Как я мог забыть про нее? Все мои опасения окажутся чистейшим вздором, потому что люди будут думать, что я направляюсь на маскарад. Кто меня узнает? Никто не может знать о моей печали и уж подавно — о моих преступлениях. Я опирался на трость, которая низачем мне не нужна, однако помогала камуфляжу. Я принялся хромать, чтобы больше походить на моего персонажа — неизвестного человека, идущего на праздник в южной части Лиссабона. И так вот я шел, подергиваясь и припадая на ногу по торцам мостовой, пока

из открытого окна не донесся до меня нежный девичий голосок, по-португальски исполнявший битловскую композицию «Yesterday». Несколько раз повторилось: «Мне нужно найти убежище».

&

Я сомневаюсь, читает ли еще современная молодежь Марко Поло.

49

Я думаю только о жизни здесь, в этом селении под Эворой, где время проходит так медленно, но вместе с жизнью. Почти ничего нет в моем жилище, почти ничего нет в селении: кое-какая мебель в доме выделяется на фоне выбеленных стен, а снаружи красноватая земля собирает немыслимое количество сжатых колосьев. Оттуда видится мне человечество аграриев в штанах и юбках иных времен. Они уже собрали пшеницу и в ус не дуют. Я, впрочем, тоже.

Приехав сюда с этой тетрадью, но без компьютера, я надеялся скинуть с себя тяжкое бремя, однако ощущения возникли странные, потому что ежеминутно тянет меня терпеливо править текст, как делывал я дома, переписать написанное утром, а потом набрать на компьютере, распечатать, перечесть и вычитать его на бумаге, а потом — снова на экране, и на этом этапе чувствовал себя пианистом, который верен партитуре, но волен интерпретировать ее.

Повторение с каждым днем все отраднее. В конце концов, эта отрада связана с моим собствен-

ным дневником, едва ли не с первой минуты ориентированного на повторение как главную тему.

Сам того не ожидал, но очень скоро увидел, что на этом новом этапе движение налегке, без компьютера, имеет свои неудобства, потому что теперь я только и делаю, что тоскую по бесконечному совершенствованию, которому предавался дома, снова и снова повторяя написанное за день и под конец маниакально гонясь за ним в вечной надежде улучшить. Теперь вижу, что на самом-то деле в Барселоне я, повторяя столько раз, сколько считал нужным, написанные за день слова, добивался физического и морального изнеможения. И сам себе напоминал одного длиннобородого художника, который по приглашению моего деда проводил лето в нашем имении и на протяжении трех или четырех лет больше ста раз написал одно и то же дерево: потому, наверное, что искал отраду — вроде как я со своими текстами — в постоянном переделывании уже сделанного.

&

В конце дня я отправился в местный бар, рассудив, что, если стану таиться от людей, навлеку на себя подозрения. В Лиссабоне меня наверняка

уже ищут. Пересекая площадь, повстречал человека, по виду которого можно было определить безошибочно местного портного: он, должно быть, только что закрыл свою мастерскую и еще держал во рту булавки. Голова опущена, во всем облике меланхолия, движения вялые. Я снова спросил себя, что же такое происходит со всеми здешними портняжками? Я не смог отказать себе в удовольствии назвать их именно так, что они всегда так подавлены и угрюмы, и почему их мир так разительно отличается от мира парикмахеров с их жадным интересом к окружающей действительности и многообразию жизни, интересом, который едва ли встретишь в мире портных, вечно отуманенных печалью.

В баре мне не удалось расслышать, о чем толкуют завсегдатаи. Они говорили очень тихо, словно в интимном рассказе из романа моего соседа. Может быть, пересказывали друг другу историю дохлой лошади и молодого иудея. Я опасался, что кто-нибудь попросит у меня прикурить, а потом спросит, не тот ли я чревовещатель, которого разыскивают в Лиссабоне. В эту минуту в бар вошла женщина. Грузные бедра, веретенообразные конечности, чрезмерная бледность, которая вкупе с шаткой поступью, проявившейся при

проходе к стойке, — все это заставило меня принять ее за призрак, слишком сильно желавший быть таковым. Я же, в свою очередь, был так угрюм, словно вырядился на маскарад скелетом. Где-то вдали остались нищие и прочие заговорщики из квартала Койот. По правде говоря, вдали оказалось вообще все, потому что совершаемое мною странствие возвращения не предполагало, как если бы, собираясь на Марс, я взял билет в один конец.

Я допил свой стакан вина и, уже собираясь покинуть бар, расслышал, как женщина попросила огоньку у одного из посетителей, причем очень тихо и бессвязно произнеся несколько слов, как мне показалось, по-арабски. И увидел, что ситуация осложняется настолько, что спохватился — мне надо идти своей дорогой. Но все же задержался, предаваясь невинному развлечению: водил горящей сигаретой в воздухе, вычерчивая в темноте какие-то фигуры. И, пока припоминал иные времена, меня вдруг осенила необыкновенно глубокая мысль, но она мелькнула и тотчас исчезла, испарилась, прежде чем я нашел, чем и на чем записать ее.

50

Я проснулся с ощущением того, что перешел на *наземное письмо,* и не мог понять, почему во сне друзья называли его так, хоть и догадывался о причине: я ведь остался без своего кабинета, без книг, которые можно было бы при надобности перелистать, и сижу теперь на земле, наедине с этой тетрадкой, в точности как наяву, с той лишь разницей, что не на земле, а на песке пляжа в Альхесирасе, на пути в Марокко.

Писать на уровне земли. И ежесекундно чувствовать, как радость заполняет меня, как она, кажется, превращает меня в то чистейшее вещество, из которого и состоит минувшее впечатление, где жизнь сохраняется в первозданном изначальном виде (и, как сказал Пруст, ее и можно познать лишь в консервированном виде, ибо тот миг, когда мы ее проживаем, не остается в нашей памяти, но окружается подавляющими его ощущениями) да, минувшее впечатление, необыкновенное возвращение к чистой сути, к чему-то такому, что имеет отношение к тебе одному и принадлежит тебе целиком, когда внезапно,

полвека с лишним спустя, ты вспомнишь о нем: оно связано с тетрадкой, с землей, на которой ты сидел, с твоим возрастом — мне было тогда пять лет в тот день, и я гостил у бабушки по материнской линии — с первыми буквами, выведенными в рисовальном альбоме, когда я впервые в жизни сочинил некую историю, впервые соприкоснулся с текстом, и, разумеется, все это — без кабинета, без компьютера, без единой книги, которая была бы моей собственностью.

Это возвращение к себе самому. Я подумал о туристах, а еще обо всех моих друзьях, колесящих по свету, чтобы увидеть то, что так мечталось увидеть: Пизанскую башню, Хрустальный дворец в Мадриде, пирамиды в окрестностях Каира, семь холмов Рима, Джоконду в Париже, стул в баре «Мелитон» в Кадакесе, где играл в шахматы Дюшан, «Музетта Каффе» в квартале Палермо в Буэнос-Айресе… По мнению одного моего приятеля, на самом деле лучше открывать то, чего не видел и не надеешься увидеть и что, несомненно, не потрясает грандиозностью, не производит неизгладимое впечатление, не находится за границе, а скорей наоборот, может быть возвращенным воспоминанием.

Горько думать об этом, когда находишься так

далеко от своего прошлого и своего города, но, по крайней мере, тетрадь и умение расставлять слова, вдруг лишившихся защиты стен, позволяют мне сейчас сидеть лицом к Африке и ощущать, как возвращается ко мне беспримесно-чистая суть меня самого, как приближаюсь я к тому, что знакомо и позабыто, но, быть может, будет обретено вновь под этим старомодным светом сегодняшнего дня, светом, который, говорят, никогда не меркнет над этим проливом.

51

Мне приходилось слышать о голосах Марракеша, но я не знал, что там может быть такого особенного. Может быть, они отличаются от всех других голосов мира, сказал я себе, устроившись на веранде этого бара, откуда можно было наблюдать за всем, что происходит на площади Джамаа-эль-Фна — там на протяжении столетий и по сей день культивируется искусство устного рассказа, там звучат разнообразнейшие истории, меж тем как в гомоне и шуме, под навесами, которые оберегают от слепящего солнца Северной Африки, заключаются торговые сделки. Я вижу на площади рассказчиков, музыкантов-берберов и заклинателей змей. Я замечаю, что о цвете голосов не говорят никогда, хотя Марракеш — самое подходящее место для подобных штудий. Голос цвета земли в Сиене, помнящей Петрарку, голос цвета тряпья, в которое облачен индийский факир, глубокий и темный голос Нового Орлеана. Так обстоят дела, и потому, когда появился официант-марокканец, я не удивился, услышав в его голосе сходство с теми звуками, какими

муэдзины сзывают правоверных на молитву. У него был цвет минарета.

Внезапно я увидел городского сумасшедшего, казавшегося еще смуглей в своем белом бурнусе. И я сосредоточил все внимание на нем и на его невесомом голосе. Никогда прежде я не видел таких гневных жестов: казалось, рубя воздух, они воспроизводят всю историю жизни. Его, разумеется, жизни. Биографию одинокого печального ствола, вознесшегося наподобие мачты посреди этой обширной площади. Я счел, что он всегда говорил только о себе самом, о своем одиноком стволе и о тех днях, когда ему нравились приключения, когда он странствовал по чужим краям и в этом путешествии присваивал кусочки чужих жизней, прожитых другими, столь же одинокими людьми, и из фрагментов этих историй он лепил собственную выдуманную биографию. Верней, костяк биографии, которую, однако, при должном умении и правильном подходе можно будет здесь, в Джамаа-эль-Фна, продавать неизменно верной публике. Представляю, как он торгует своим извилистым жизнеописанием, ее бытийственной траекторией, сведенной в несколько гримас, обращенных к небесам, и в четыре ритмичные модуляции, которыми колеблет воздух

своим голосом цвета белого фрака, облекающего тело чернокожего джазиста из Чикаго.

52

На юге Туниса, среди высоких пальм оазиса Дуз, я вообразил, что в ходе своего бегства записался в Иностранный легион, и теперь передо мной, будто спроецированные на белые дюны Большого Восточного Эрга, проплывают картины и образы, происходящие от самых давних воспоминаний о боевиках или романах об африканских впечатлениях. Я, к примеру, вспоминаю, как вспыхивают на солнце лезвия вражеских клинков. А позднее, в звездной ночи пустыни, вижу себя рядом с легионерами и дружественными бедуинами и пленником по имени Бодж. И, обретя облик воина, наблюдаю за тем, как мягко, медленно и чудесно растворяется моя личность и превращается в инкогнито. Ночь особенно ясна после песчаной бури, исхлеставшей нас, погружена в глубину тишины и укутана сама собой. Рядом со мной пленный Бодж без умолку рассказывает какие-то истории, и по мере развития сюжета голоса разнообразных персонажей движутся мимо, как медленный караван мирных кочевников. Сегодня ночью, на юге Туниса, среди высоких

пальм оазиса Дуз меня охватывает нежное и одновременно горькое ощущение того, что я — это я, но вместе с тем и Бодж, и все составные части этого медлительного каравана историй о неизвестно чьих голосах, о неведомых судьбах, и это как будто подтверждает, что есть рассказы, которые внедряются в наши жизни и, слившись с ними, следуют своим путем дальше.

53

В этом городке, стоящем у развалин Беренисы, в час расставания с приветливыми и радушными жителями, со мной случилось нечто похожее на рассказ Стивенсона про обитателей одного из островов архипелага Гилберт, где он сошел на берег по пути из Гонолулу в Апию, столицу Самоа.

Я же провел в Беренисе несколько дней, тесно общаясь с рыбаками и рассказывая им на разные — и многие — голоса о самых значительных ликах-аватарах моей жизни или, что, впрочем, одно и то же, истории, которые слышал от других и в продолжение своего странствия взял себе. И в час расставания, обнявшись со всеми этими искренними людьми, я понял, что из-за безветрия мне придется несколько часов прождать в маленьком порту. И все это время островитяне прятались за деревьями и не подавали признаков жизни, *потому что прощание уже состоялось*.

54

Я — один, я — множество, и я не знаю, кто я. Не узнаю этот голос, только знаю, что проехал через Аден и, собрав караван из неутомимых и неведомо чьих голосов, повел его к Баб-эль-Мандебскому проливу. Только знаю, что вчера снова ходил и повторил позавчерашнюю прогулку. Тьма и пыль над вершинами опустошенных холмов. С дороги я видел освещенное окно собственной моей квартиры. Тусклый свет в маленьком окне, у которого я столько времени писал. Идти — это нечто исключительное. Проходишь мимо того и этого, и порой бывают такие совпадения и случайности, от которых смеешься, а бывают такие, что умираешь. И, пока идешь по свету, пока бороздишь его всеми пятью чувствами, все плотнее обволакивает нас призрак того, что нам так знакомо и что мы надеемся когда-нибудь обрести вновь, ибо на самом деле это единственное, что всегда принадлежало нам. Постигаешь процесс писания, идя пешком, через географию, созидаемую нами же, о чем мы забыли. По дороге ты думаешь и порой спотыкаешься о позабытое.

Вот я, например, только что вспомнил черешневую кока-колу.